

*Полное собрание
малой прозы*

Вирджиния Вулф

Вирджиния Вулф

Полное собрание малой прозы

<https://litres.ru/74438173>

SelfPub; 2026

Аннотация

При жизни Вирджинии Вулф в свет выходил лишь один ее сборник, и в нем было всего 8 рассказов. До публикации этого полного собрания малой прозы меньше половины включенных в него произведений было переведено на русский язык.

Настоящее издание содержит 48 рассказов и зарисовок, включая две истории, написанные в соавторстве с братом еще в детстве; не вошедшую в роман «Миссис Дэллоуэй» главу «Премьер-министр», малоизвестные черновики шуточных биографий «Галерея дружбы» и «Кухарка», две версии пьесы «Фрешуотер», а также 16 неоконченных произведений.

Расположенные в хронологическом порядке, эти тексты позволяют читателю по-новому взглянуть на становление Вулф как писательницы и наглядно иллюстрируют ее постоянные эксперименты с повествовательными приемами, способами изображения персонажей, раскрытия тем и смены ракурса. Все рассказы снабжены предисловиями, комментариями и примечаниями для глубокого понимания контекста.

Впервые на русском языке.

Содержание

Аббревиатуры и сокращения	4
Предисловие	6
1906–1909	16
[Филлис и Розамунда]	16
Загадочный случай мисс В.	40
[Дневник госпожи Джоан Мартин]	45
[Разговор на горе Пенделикон]	101
Мемуары о романистке	113
1917–1921	135
Пятно на стене	135
Сады Кью	150
Вечерний прием	162
Реальные предметы	175
Сочувствие	185
Ненаписанный роман	194
Конец ознакомительного фрагмента.	202

Вирджиния Вулф

Полное собрание

малой прозы

Аббревиатуры и сокращения

В. или ВВ – Вирджиния Вулф:

ВВ-Д-0 – «Дневники: 1897–1909»

ВВ-Д-II – «Дневники: 1920–1924»

ВВ-Д-III – «Дневники: 1925–1930»

ВВ-Д-IV – «Дневники: 1931–1935»

ВВ-Д-V – «Дневники: 1936–1941»

ВВ-ДП – «Дом с привидениями и другие рассказы» (1944)

ВВ-ОЧ-II – «Обыкновенный читатель. Серия 2»

ВВ-П-I – «Письма: 1888–1912»

ВВ-П-II – «Письма: 1912–1922»

ВВ-П-III – «Письма: 1923–1928»

ВВ-П-IV – «Письма: 1929–1931»

ВВ-П-VI – «Письма: 1936–1941»

ВВ-ПЛВ – «Понедельник ли, вторник» (1921)

КБ-I – Квентин Белл «Биография Вирджинии Вулф. Том I:

Вирджиния Стивен, 1882–1912»

КБ-II – Квентин Белл «Биография Вирджинии Вулф. Том II:

Миссис Вулф, 1912–1941»

Предисловие

Произведения, собранные в этой книге, охватывают весь период писательской карьеры Вирджинии Вулф. Самый ранний рассказ, «Филлис и Розамунда», датируется 1906 годом, всего через два года после того, как она начала публиковать короткие эссе и рецензии в лондонских журналах. Последний же, «Морской курорт», написан менее чем за месяц до смерти 28 марта 1941 года и, вероятно, является ее последним законченным художественным произведением.

Полное собрание малой художественной прозы Вулф никогда ранее не публиковалось на русском языке, а те рассказы (меньшая их часть), которые все же печатались в разных книгах, переведены заново. Если читать эти произведения в хронологическом порядке, можно проследить удивительную эволюцию писательского гения Вулф. Стремление, которое она в 1908 году описала как желание *«реформировать жанр романа и попытаться уловить все мимолетное, охватить целое и придать ему новые, невообразимые формы»*¹, на протяжении всей творческой жизни побуждало ее экспериментировать не только с романом, но и с различными формами малой прозы. В 1917 году, размышляя о том, насколько романы *«ужасно неуклюжи и тяжеловесны»*, она добавила:

¹ См. ВВ-П-I, № 438.

«Рискну заявить, что нужно изобрести совершенно новую форму. Как бы то ни было, очень забавно попробовать себя в этих коротких вещичках...»².

Поскольку Вирджиния постоянно экспериментировала с формами повествования, ее малая проза чрезвычайно разнообразна. Одни произведения, такие как «Реальные предметы» и «Наследство», представляют собой традиционные короткие рассказы с четкими сюжетными линиями и персонажами. Другие, например «Пятно на стене» и «Ненаписанный роман», являются художественными грезами, которые сменой ракурса и лиричностью повествования напоминают автобиографические эссе некоторых писателей XIX века, таких как де Квинси. Третьи можно назвать «сценками» или «зарисовками», и, вероятно, они обязаны своим стилем Чехову, который, как заметила Вулф в 1919 году, помог понять, что *«незаконченные рассказы имеют право на существование»*³. В одних произведениях рассказчица выступает в роли внимательного стороннего наблюдателя, а в других она говорит от лица персонажей, передавая их мысли, восприятие себя и окружающего мира. Наконец, в «грезах» повествование формируется через тонкое наблюдение рассказчицы за собственными мыслями. Как следует из этого краткого описания, грань, отделяющая художественную прозу Вирджинии

² См. ВВ-П-II, № 853.

³ См. ВВ «Обыкновенный читатель», эссе «Русский фон» (в пер. Н.И. Рейнгольд).

Вулф от ее эссе, порой очень тонка.

Первые три произведения можно назвать ученическими. В них писательница пробует свои силы в создании персонажей и ситуаций, начинает вырабатывать уникальный повествовательный стиль и голос. В каждом из них рассказчица фокусирует внимание на взаимоотношениях центральных персонажей – все они женщины – с обществом. Филлис и Розамунда, как и неуловимая мисс В., живут в современном Лондоне, а дневник Джоан Мартин переносит нас в Норфолк XV века. «Разговор на горе Пенделикон» с его анонимной рассказчицей отражает ранний и постоянный интерес Вирджинии к литературе и языку Греции. Наконец, в «Мемуарах о романистке» Вулф создает образы рецензентки, биографа и романистки, позволяя нам представить жизнь женщины в викторианской Англии.

Работая над «Пятном на стене», Вирджиния вступила в новый важный этап своей писательской карьеры. Она написала этот рассказ в 1917 году, когда заканчивала второй роман, «День и ночь» (1919) – крупное произведение, которое позже назвала *«упражнением в традиционном стиле»*. *«Никогда не забуду, – пишет она Этель Смит⁴, – тот день, когда я написала “Пятно на стене”, – одним махом, словно в полете, после того как меня месяцами будто держали на привязи»*. Примерно два года спустя Вирджиния сочинила «Ненаписанный роман» и обнаружила, по ее словам, *«как*

⁴ Этель Мэри Смит (1858–1944) – писательница, композитор, суфражистка.

воплотить весь свой накопленный опыт в подходящей для него форме»⁵. В 1921 году эти две экспериментальные работы вместе с шестью другими были опубликованы в сборнике «Понедельник ли, вторник».

В своем дневнике Вирджиния жаловалась, что критики не заметили «интересных находок»⁶ ее сборника. Тем не менее она была скорее озадачена, чем обескуражена, и в следующем году опубликовала свой первый экспериментальный роман – «Комната Джейкоба». Эта книга побудила Т.С. Элиота поздравить ее с тем, что она «преодолела определенный разрыв, существовавший между другими вашими романами и экспериментальной прозой сборника “Понедельник ли, вторник”»⁷. Едва закончив работу над «Комнатой Джейкоба», Вирджиния приступила к написанию следующей книги, которую хотела назвать «В доме, или Вечеринка»: «Это должна быть короткая книга, состоящая из шести-семи глав, написанных отдельно, но при этом чем-то связанных»⁸. Первая «глава», указанная ею в списке, называлась «Миссис Дэллоуэй на Бонд-стрит» – рассказ, который вско-

⁵ См. ВВ-П-IV, № 2254.

⁶ См. ВВ-Д-II, 8 апреля 1921 г.

⁷ См. КБ-II. В сборник (1921) «Понедельник ли, вторник» вошло 8 рассказов: «Дом с привидениями», «Общество», «Понедельник ли, вторник», «Ненаписанный роман», «Струнный квартет», «Голубой и зеленый», «Сады Кью», «Пятно на стене».

⁸ Из черновиков романа «Комната Джейкоба».

ре, как она выразилась, «перерос в книгу»⁹.

Этот рассказ ознаменовал еще один важный этап в творчестве Вулф, ведь именно в «Миссис Дэллоуэй на Бонд-стрит» она впервые нашла способ поместить рассказчика в сознание своей героини и показать ее мысли и чувства в момент их возникновения. Использование Джойсом¹⁰ внутреннего монолога в первых главах романа «Улисс», который Вирджиния читала, когда работала над своим рассказом, вероятно, помогло ей представить внутреннюю жизнь Клариссы Дэллоуэй, однако семена нового метода были посеяны еще в «Пятне на стене», «Ненаписанном романе» и других ранних рассказах.

Вирджиния отказалась от первоначального плана с отдельными главами и написала полноценный роман (1925) «Миссис Дэллоуэй», в котором вообще нет глав. Едва завершив его, она принялась писать серию из восьми рассказов (начиная с «Нового платья»), действие которых происходит на вечеринке миссис Дэллоуэй. В каждом из них она с позиции одного-двух персонажей показывает внутреннюю напряженность и неестественность, характерные для «сознания на вечеринке»¹¹. Она изменила свой первоначальный план и решила, что ее рассказы смогут стать своего рода «коридо-

⁹ См. ВВ-Д-II, 14 октября 1922 г.

¹⁰ Джеймс Джойс (1882–1941) – ирландский писатель и поэт, представитель модернизма.

¹¹ См. ВВ-Д-III, 27 апреля 1925 г.

ром», ведущим к новой книге. Как только она закончила последний из них, метко названный «Итогом», Вирджиния начала следующую большую работу (1927) под названием «На маяк». В этом романе она блестяще использовала метод повествования, который рассказы помогли ей довести до совершенства.

В период с 1917 по 1925 год Вирджиния Вулф написала 25 рассказов и набросков, три романа, сборник эссе и множество рецензий. В этот чрезвычайно плодотворный период ее рассказы часто служили «полигоном», где она экспериментировала с художественными приемами, которые позже использовала и развивала в своих крупных произведениях. Рассказы из сборника «Понедельник ли, вторник», как и те, что были написаны непосредственно до и после «Миссис Дэллоуэй», отражают множество способов, с помощью которых она освобождалась от условностей как в методе повествования, так и в мышлении, формируя свой собственный писательский голос.

В дальнейшем она никогда больше не писала столько произведений за такой короткий срок; за последние шестнадцать лет жизни Вулф создала 17 рассказов и набросков. Они писались с перерывами и зачастую служили способом расслабиться, развлечься или просто заработать деньги. Например, «Моменты бытия», своего рода «побочный рассказ», возник, по ее словам, когда Вирджиния заканчи-

вала работу над романом «На маяк»¹². «Женщина в зеркале: отражение» и «Очарование водоема», написанные в мае 1929 года, должно быть, помогли облегчить *«тяжкое бремя трудностей»*¹³, которое писательница испытывала, обдумывая свою следующую книгу, роман (1931) «Волны». Некоторые рассказы и наброски, написанные в 1930-х, такие как «Три картины», «Фазанья охота» и, вероятно, ее комическая «Ода», основаны на реальных событиях или услышанных историях. В более поздних рассказах круг персонажей Вулф расширяется и включает в себя загадочного морского офицера; надоедливого, но неумолимого благодетеля; мясника из Пентонвиля; ювелира, стремящегося подняться по социальной лестнице; двух пожилых леди, которые с ликованием наблюдают за упадком своей семьи; несчастных жен с эгоцентричными мужьями и даже неугомонную собаку. В этих рассказах, как и в предыдущих, воспоминания и воображение часто служат героям средством спасения от разочарований в жизни.

Большинство поздних рассказов, начиная с «Ювелира и герцогини», – это произведения, которые Вулф набросала ранее, а потом переработала для публикации. В дневнике она с явным удовольствием фиксирует полученные гонорары. И хотя о некоторых работах она отзывалась с пренебрежением, называя их *«халтурными рассказами для Америки»*.

¹² См. ВВ-Д-III, 5 сентября 1926 г.

¹³ См. ВВ-Д-III, 28 мая 1929 г.

ки»¹⁴, ее машинописные рукописи и сами тексты показывают, что Вирджиния вложила в них столько же труда, сколько и в любое другое свое произведение. Позже она размышляла о том, что ее никогда нельзя было обвинить в легковесности: *«я своими пальцами чувствую вес каждого слова, – говорит она, – даже когда пишу рецензию»*¹⁵.

Невозможно не задаться вопросом, что подумала бы Вирджиния Вулф о полном собрании своей малой прозы. Если бы она дожила до публикации сборника рассказов, который обсуждала с мужем, Вирджиния, вероятно, не включила бы в него все свои ранее выпущенные или неопубликованные произведения в том виде, в каком они дошли до нас¹⁶. Возможно, она бы отредактировала те рассказы, которые решила перепечатать из сборника «Понедельник ли, вторник», и

¹⁴ См. ВВ-П-VI, № 3414.

¹⁵ См. ВВ-Д-V, 1 ноября 1940 г.

¹⁶ В предисловии к книге (1944) «Дом с привидениями и другие рассказы» Леонард Вулф объясняет, что исключил рассказы «Общество» и «Голубой и зеленый», потому что Вирджиния не планировала перепечатывать их в сборнике, который собиралась выпустить в 1942 году. В 1931 году она написала Этель Смит, что «Голубой и зеленый» и «Понедельник ли, вторник» – это «*дикие вспышки свободы, невнятные, нелепые, непечатные вопли*», «*в основном поэтому я и не буду их перепечатывать*» (см. ВВ-П-IV, № 2254). В итоге в сборник «Дом с привидениями» вошли 18 рассказов: «Дом с привидениями», «Понедельник ли, вторник», «Ненаписанный роман», «Струнный квартет», «Сады Кью», «Пятно на стене», «Новое платье», «Фазанья охота», «Лапин и Лапина» («Кроль и Зая»), «Реальные предметы», «Женщина в зеркале: отражение», «Ювелир и герцогиня», «Моменты бытия», «Человек, любивший себе подобных», «Прожектор», «Наследство», «Вместе и врозь», «Итог».

наверняка подвергла бы значительной редакции неопубликованные рассказы и наброски. Кроме того, она, вероятно, расположила бы их иначе, не в хронологическом порядке, а так, чтобы они, как и отдельные произведения, отражали специфические ритмы ее собственного сознания. Объединение неотредактированных рассказов и набросков с теми, которые Вирджиния Вулф опубликовала сама, вместо того чтобы сгруппировать их в отдельный раздел, позволяет расширить и обогатить контекст, в котором читаются более отшлифованные тексты. Ранее не опубликованные работы также показывают, что Вулф не переставала экспериментировать с темами и методами повествования. Подобно многим другим рукописям, опубликованным после ее смерти, – черновикам романов «На маяк» и «Волны», ранним наброскам романов «По морю прочь» («Мелимброзия») и «Годы» («Парджитеры»), машинописи романа «Между актов», сборнику мемуарных очерков «Моменты бытия», собраниям эссе, дневников и писем и многому другому, – эти прежде не публиковавшиеся на русском языке или давно не переиздававшиеся рассказы, прочитанные рядом с хорошо известными, несомненно, помогут глубже понять достижения этой выдающейся писательницы.

В *Приложении 1* представлены два ранних рассказа, написанных 10-летней Вирджинией в соавторстве с ее братом, Джулианом Тоби Стивенсом, и опубликованных в домашней

газете «Hyde Park Gate News».

В *Приложение 2* помещены наброски четырех рассказов, озаглавленных в рукописи как «Треск скрипок».

В *Приложении 3* находится текст «главы» «Премьер-министр», связанной с романом «Миссис Дэллоуэй», но не вошедшей в него и не ставшей самостоятельным произведением.

В *Приложении 4* собраны все неоконченные рассказы или наброски, обнаруженные в рукописях писательницы.

В *Приложении 5* приведен черновик «Галереи дружбы» – шуточной биографии Вайолет Дикинсон, близкой подруги Вирджинии Вулф.

В *Приложении 6* представлен набросок рассказа «Кухарка», сопровождаемый обширным предисловием, поясняющим обстоятельства его создания и содержание.

В *Приложении 7* представлены два варианта единственной пьесы Вирджинии Вулф – «Фрешуотер».

В *Приложение 8* помещен рассказ «Джеймс», авторство которого приписывают Вулф, однако некоторые исследователи, включая ее племянника, сомневаются в этом.

1906–1909

[Филлис и Розамунда]

Рукопись данного рассказа не имеет названия, но датирована как “Среда. 20–23 июня, 1906 год”.

В наш весьма любопытный век, когда возрастает потребность в изображении людей, их мыслей и нарядов, ценность может иметь точный набросок, выполненный без мастерства, зато правдиво.

Пусть каждый человек, услышала я на днях, записывает подробности своего рабочего дня; потомки будут так же рады этому перечню, как были бы рады мы сами, будь у нас записи о том, как именно сторож «Глобуса» и охранник ворот Парка провели субботу 18 марта 1568 года от Рождества Христова¹⁷.

А поскольку на уже имеющихся в нашем распоряжении портретах чаще всего изображены мужчины, занимающие

¹⁷ Название «Глобус», как правило, связывают с одним из трех театров в Лондоне: два из них ассоциируются с Шекспиром, однако все три были построены позже 1568 года. Неизвестно, о каком именно парке идет речь, и 18 марта 1568 г. было четвергом, а не субботой.

более видное место на сцене, в качестве модели стоит взять одну из тех многочисленных женщин, которые держатся в тени. Ведь изучение истории и биографий убедит любого здравомыслящего человека в том, что эти малоизвестные фигуры занимают место, подобное руке кукловода в танце марионеток, а палец этой руки касается самого сердца. По правде говоря, на протяжении многих веков мы наивно верили, что фигуры танцуют сами по себе и свободны в выборе движений, а тусклый свет, который историки и романисты начали проливать на то темное, людное пространство за кулисами, пока еще мало что меняет, однако показывает нам, сколько нитей сосредоточено в руках, от рывка или поворота которых зависит весь танец. Итак, данное предисловие приводит нас к тому, с чего мы начали: мы намерены обратить пристальное внимание на нескольких женщин, ныне живущих (20 июня 1906 года) и по определенным причинам, которые мы укажем, по-видимому, воплощающих качества многих себе подобных. Случай, в общем-то, показательный, ведь есть немало молодых женщин, родившихся в обеспеченных, респектабельных чиновничьих семьях; все они, должно быть, сталкиваются с одними и теми же проблемами, а ответы, которые они находят, к сожалению, не отличаются разнообразием.

Их пятеро, все – дочери, как они с горечью вам объяснят. Похоже, они всю жизнь жалеют родителей из-за того, что у тех не родилось ни одного сына. Дочери делятся на два лаге-

ря: две сестры противостоят двум другим, а пятая колеблется между ними. Природа распорядилась так, что две сестры унаследовали стойкий и воинственный склад ума, который они успешно и не без удовольствия обращают к политической экономии и социальным проблемам; двух других природа сделала легкомысленными домоседками, наделив более мягким и чувствительным темпераментом. Последние обречены быть теми, кого в наше время принято называть «домашними дочерьми». Их сестры решают развивать ум, поступают в колледж, преуспевают в учебе и выходят замуж за профессоров. Карьеры сестер настолько напоминают мужские, что вряд ли стоит делать их предметом специального исследования. Характер пятой сестры менее выражен, чем у всех остальных, однако эта юная леди выходит замуж в двадцать два года, и, следовательно, у нее почти нет времени на развитие собственной индивидуальности, которую мы как раз и хотим описать. В двух «домашних дочерях» – будем звать их Филлис и Розамунда – мы, однако, обнаруживаем прекрасный материал для нашего исследования.

Несколько фактов помогут расставить все по своим местам, прежде чем мы приступим к делу. Филлис двадцать восемь лет, а Розамунде двадцать четыре года. Внешне они симпатичны, розовощеки, жизнерадостны; пытливый взгляд не найдет в их чертах правильной красоты, однако их одежда и манеры поведения создают впечатление красоты, которой нет. Они кажутся завсегдатаями гостиных, будто родились

в вечерних шелковых платьях; ноги их не касались ничего грубее и жестче турецкого ковра, а спины – мягких кресел или диванов. Увидеть их в гостиной, полной хорошо одетых людей, – все равно что встретить торговца на фондовой бирже или барристера в Темпле. Каждое движение и слово говорит о том, что гостиная для них – привычная среда, рабочее место, профессиональная арена. Там, очевидно, они занимаются искусством, которому обучались с детства. И там же, возможно, они одерживают свои победы и зарабатывают на хлеб. Тем не менее столь же несправедливо, сколь и легко развивать эту метафору так далеко, будто сравнение уместно и вполне соответствует действительности. Да, оно неудачно, однако на понимание того, в чем именно и почему оно неудачно, потребуется и время, и внимательность.

Вы должны иметь возможность сопровождать этих юных леди домой и услышать их разговоры при свечах в спальне. Вы должны быть рядом, когда они проснутся на следующее утро, и наблюдать за их деятельностью в течение дня. Проведя с ними не один день, а несколько, вы сможете правильно оценить впечатление, которое они производят по вечерам в гостиной.

Приведенная выше метафора позволяет заключить, что гостиная выступает для них скорее местом труда, чем развлечений. Это во многом проявится из сцены в карете, в которой девушки едут домой. Леди Хибберт – строгий критик их выходов в свет; она отмечает, хорошо ли выглядят ее

дочери, хорошо ли говорят, хорошо ли ведут себя; привлекают ли нужных людей и отталкивают ли ненужных; благоприятное ли в целом впечатление они оставляют. Из множества ее дотошных комментариев легко понять, что двухчасовой прием для этаких мастериц своего дела — очень тонкая и сложная работа. Многое, похоже, зависит от того, как они себя проявят. Дочери покорно отвечают, а потом замолкают, независимо от того, хвалит их мать или порицает, а критика ее сурова. Когда девушки наконец остаются одни и делят скромную спальню на верхнем этаже огромного уродливого дома, они потягиваются и начинают с облегчением вздыхать. Их разговор не слишком назидателен; это скорее профессиональная болтовня деловых людей; они считают прибыль и убытки и явно не принимают близко к сердцу ничьих интересов, кроме собственных. Однако вы, возможно, услышите, как они болтают о книгах, пьесах и картинах так, будто именно эти вещи их больше всего интересуют; их обсуждение — единственная цель подобного «приема».

Однако в этот час неприглядной откровенности вы заметите и нечто очень искреннее, но ни в коем случае не безобразное. Сестры открыто привязаны друг к другу. Их привязанность приняла форму своеобразного масонского братства, но не сентиментальности; у них общие надежды и страхи, но чувства искренние и глубокие, несмотря на внешнюю прозаичность. Они строго соблюдают кодекс чести во всех своих совместных делах, а в отношении младшей сестры к

старшей есть даже что-то рыцарское. Старшая, будучи более уязвимой в силу возраста, должна получать все лучшее. Есть и некоторая трогательность в благодарности, с которой Филлис воспринимает это преимущество. Когда становится поздно, эти деловитые молодые женщины, заботясь о сохранении свежести лица, напоминают друг другу, что пора гасить свет.

Несмотря на эту предусмотрительность, по утрам они предпочитают поспать подольше, даже после того, как их разбудят. Однако Розамунда вскакивает и расталкивает Филлис.

– Филлис, мы опоздаем на завтрак.

Видимо, в этом аргументе заключалась какая-то сила, потому что Филлис немедленно встала и молча начала одеваться. Несмотря на поспешность, они тщательно выбрали наряды и ловко облачились в них, а результат был поочередно оценен каждой сестрой, прежде чем обе спустились вниз. Часы пробили девять, когда сестры спустились к завтраку; отец уже был там – он небрежно поцеловал каждую из дочерей, протянул чашку, чтобы ему налили кофе, прочел газету и исчез. Это была молчаливая трапеза. Леди Хибберт завтракала в своей комнате; однако после завтрака дочери должны были заглянуть к матери, чтобы получить распоряжения на день, и пока одна писала для нее заметки, другая отправилась обсудить с кухаркой меню на обед и ужин. К одиннадцати они временно освободились и встретились в комна-

те для занятий, где младшая сестра Дорис, шестнадцати лет отроду, писала сочинение о Великой хартии вольностей¹⁸ на французском языке. Стенания о том, что ее отвлекают – она уже давно мечтала о высшей оценке, – не были приняты во внимание.

– *Мы посидим здесь, потому что больше нигде*, – отметила Розамунда.

– *Не думай, что мы здесь ради твоей компании*, – добавила Филлис.

Эти замечания были произнесены без злости и звучали обыденно.

Однако из уважения к сестре Филлис взяла томик Анатolia Франса¹⁹, а Розамунда открыла «Греческие исследования» Уолтера Патера²⁰. Несколько минут они читали молча; затем в дверь постучала запыхавшаяся горничная и сообщила, что *«ее светлость желает видеть юных леди в гостиной»*. Они застонали; Розамунда предложила пойти одной; Филлис отказалась – лучше уж страдать вместе, – и, гадая, какими будут поручения, угрюмые, они спустились вниз. Ле-

¹⁸ Политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати к королю Иоанну Безземельному и защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии.

¹⁹ Анатолий Франс (1844–1924) – французский писатель и литературный критик.

²⁰ Уолтер Горацио Патер (1839–1894) – английский эссеист и искусствовед, главный идеолог эстетизма – движения, исповедовавшего девиз *«искусство ради искусства»*.

ди Хибберт нетерпеливо ждала их.

– О, наконец-то вы здесь! – воскликнула она. – Ваш отец прислал сообщение, что пригласил мистера Миддлтона и сэра Томаса Кэрю на обед. Ну разве это не доставит нам хлопот? Ума не приложу, что побудило вашего отца пригласить их, а ведь для обеда еще ничего не готово, и я вижу, Филлис, что ты еще не расставила цветы. Розамунда, я хочу, чтобы ты позаботилась о чистой шемизетке²¹ для моего бордового платья. Боже, как легкомысленны мужчины!

Дочери привыкли к подобным выпадам в адрес отца; в целом они занимали его сторону, но вслух об этом не говорили.

Они молча разошлись по своим делам: Филлис нужно было сходить за цветами и прикупить еды, а Розамунда села за шитье.

Они едва успели переодеться к обеду, но в 13:30, розовощекие и улыбающиеся, вошли в помпезную гостиную. Мистер Миддлтон был секретарем сэра Уильяма Хибберта – молодым человеком с определенным положением и перспективами, которого, по определению леди Хибберт, можно и поощрить. Сэр Томас, чиновник из той же конторы, что и отец семейства, был солидным мужчиной, страдавшим подагрой, – красивой, но незначительной шахматной фигурой на доске.

За обедом между мистером Миддлтоном и Филлис за-

²¹ Или манишка-вставка – кусок ткани или кружева, закрывавший вырез платья.

вязалась оживленная беседа, тогда как старшие говорили обычные банальности своими звучными глубокими головами. Розамунда по привычке сидела молча; она увлеченно размышляла о характере секретаря, который вполне мог стать мужем ее сестры, и с каждым его новым словом проверяла свои прежние догадки. По молчаливому общему согласию мистер Миддлтон был добычей ее сестры; Розамунда не посягала на него. Если бы кто-то прочел ее мысли, пока она слушала рассказы сэра Томаса об Индии 1860-х, то обнаружил бы, что Розамунда погружена в какие-то заумные расчеты; «*мальши Миддлтон*», как она его называла, был не так уж плох и обладал умом; еще она понимала, что он хороший сын и что из него выйдет неплохой муж. К тому же он обеспечен и может сделать карьеру. Вот только ее психологическая проницательность подсказывала, что он узколобый, без намека на воображение или интеллект в том смысле, в каком она их понимала; к тому же Розамунда достаточно хорошо знала свою сестру и догадывалась, что та никогда не полюбит этого деятельного, энергичного человечка, хотя и будет испытывать к нему уважение. Вопрос заключался в том, надо ли выходить за него замуж? Сэр Томас как раз дошел до убийства лорда Мейо²², и пока ее губы шептали охи и ахи от ужаса, глаза посылали на другой конец стола сигнал, как

²² Ричард Саусуэлл Бурк, 6-й граф Мейо (1822–1872) – английский политический деятель Консервативной партии из Дублина. Во время посещения поселения Порт-Блэр на Андаманских островах с целью проверки он был зарезан Шером Али, пуштунским осужденным.

бы говоря: «*Я сомневаюсь*». Если бы она утвердительно кивнула, сестра пустила бы в ход те приемы, с помощью которых ей уже удалось добиться множества предложений руки и сердца. Однако Розамунда еще недостаточно хорошо знала Миддлтона, чтобы принять решение. Она молча отправила свой сигнал: «*Продолжай игру*».

Вскоре после обеда джентльмены откланялись, и леди Хибберт собиралась прилечь. Перед уходом она подозвала к себе Филлис.

– *Ну, моя дорогая,* – сказала она с большей нежностью в голосе, чем обычно, – *тебе понравился обед? А мистер Миддлтон?* – Она потрепала дочь по щеке и пристально посмотрела ей в глаза.

В глазах Филлис промелькнуло раздражение, и она вяло ответила:

– *О, неплохой человек, но чувств не вызывает.*

Леди Хибберт тут же изменилась в лице: если раньше она казалась благодетельной кошкой, из филантропических побуждений играющей с мышью, то теперь это был настоящий зверь, представляющий серьезную опасность.

– *Помни,* – отрезала она, – *так не может продолжаться вечно. Постарайся быть немного менее эгоистичной, моя дорогая.* Даже откровенная брань не могла бы прозвучать неприятнее.

Она удалилась, а девушки посмотрели друг на друга, выразительно скривив губы.

– Я ничего не могла с собой поделатъ, – сказала Филлис, издав смешок. – А теперь давай передохнем. Ее светлость не захочет нас видеть до четырех.

Они поднялись в классную комнату, которая теперь была пуста, и уселись в глубокие кресла. Филлис зажгла сигарету, а Розамунда посасывала мятные леденцы, как будто те способствовали размышлениям.

– Ну, моя дорогая, – сказала наконец Филлис, – что делать-то будем? Уже июнь, а родители дали мне время только до июля; мальши Миддлтон – единственный вариант.

– Кроме... – начала Розамунда.

– Нет, даже думать о нем не стоит.

– Бедняжка Филлис! Ну, он неплохой человек.

– Порядочный, трезвый, честный, трудолюбивый. О, из нас, наверное, получилась бы образцовая пара! Ты должна жить с нами в Дербишире.

– Ты можешь найти кого-то получше, – продолжила Розамунда с важным судебским видом. – Хотя они долго ждать не будут. – Имелись в виду сэр Уильям и леди Хибберт.

– Отец вчера спросил меня, что я буду делать, если не выйду замуж. Я не нашла, что ответить.

– Да, нас явно готовили к браку.

– Ты могла бы заняться чем-нибудь получше. А я-то дура, так что неважно.

– А я считаю, что нет ничего лучше брака, если тебе, конечно, позволено выйти за того, за кого хочется.

– О, я знаю: это чудовищно. Но от фактов никуда не де-
нешься.

– Миддлтон, – коротко ответила Розамунда. – Сейчас он твой факт. Он хоть что-то значит для тебя?

– Ничего.

– Ты могла бы выйти за него замуж?

– Только если ее светлость меня заставит.

– И все же это какой-никакой выход из положения.

– Что думаешь о нем? – спросила Филлис, которая могла принять или отвергнуть любого мужчину, руководствуясь советом сестры. Розамунда, обладавшая проницательным и цепким умом, питала его исключительно сведениями о людских характерах, а поскольку ее наука почти не была запятнана личными предрассудками, то выводы Розамунды в целом заслуживали доверия.

– Он очень хорош, – начала сестра, – моральные качества превосходны; мозги в порядке; в жизни он, конечно, преуспет; ни капли воображения или романтики; он будет с тобой очень справедлив.

– Короче говоря, мы были бы достойной парой, похожей на наших родителей!

– Вопрос в том, – продолжила Розамунда, – стоит ли терпеть еще один год рабства, пока не появится кто-то другой? И кто может быть следующим? Симпсон, Род-

эжес, [Лестер?].

При каждом имени ее сестра корчила гримасу.

— *Вывод напрашивается сам собой: тяни время и поддерживай видимость.*

— *О, давай наслаждаться жизнью, пока есть возможность! Если бы не ты, Розамунда, я бы уже десять раз вышла замуж.*

— *Ага, и оказалась бы в бракоразводном суде, моя дорогая.*

— *Право, я слишком респектабельна для этого. Без тебя я очень слаба. А теперь давай поговорим о твоих делах.*

— *Мои дела подождут,* — решительно заявила Розамунда.

И обе молодые женщины обсуждали характеры своих друзей с некоторой проницательностью и немалым милосердием, пока не пришло время снова переодеться. Однако две особенности их разговора заслуживают внимания. Во-первых, они с большим почтением относились к интеллекту и ставили его во главу угла в своих изысканиях; во-вторых, всякий раз, когда они подозревали у кого-то несчастливую семейную жизнь или безответную привязанность, даже в самых неприглядных случаях их суждения неизменно оставались мягкими и сочувственными.

В четыре часа они с леди Хибберт отправились наносить визиты. Процесс заключался в том, что они торжественно ездили от одного дома к другому, где ужинали раньше или надеялись поужинать в будущем, и вкладывали две-три визитные карточки в руку слуги. В один из домов они зашли,

выпили по чашке чая и ровно пятнадцать минут говорили о погоде. После этого они медленно ехали по парку в процессии парадных карет, которые в этот час обычно движутся мимо статуи Ахилла²³ в пешем темпе. На лице леди Хибберт была неизменная улыбка.

К шести часам они вернулись домой и застали сэра Уильяма за чаем с пожилым кузеном и его женой. С этими людьми можно было не церемониться, и леди Хибберт решила прилечь, оставив дочерей расспрашивать, как поживает Джон и оправилась ли Милли от кори.

– *Уильям, не забудь, что в восемь мы ужинаем не здесь,* – сказала она, выходя из комнаты.

Филлис поехала с ними; прием устраивал уважаемый судья, и ей предстояло развлекать респектабельного королевского адвоката; по крайней мере в одном отношении она могла ослабить старания, а мать смотрела на нее безразлично. Разговор с умным пожилым человеком на отвлеченные темы, думала Филлис, подобен глотку прохладной родниковой воды. Они не углублялись в теории: он сообщал Филлис факты, а она была рада почувствовать, что мир полон реальных, далеких от ее жизни вещей.

Когда они собрались уходить, Филлис сказала матери, что поедет к Тристрамам и встретится там с Розамундой. Леди

²³ Монумент Веллингтона – статуя, изображающая Артура Уэлсли, 1-го герцога Веллингтона, участника Наполеоновских войн и победителя при Ватерлоо, в виде Ахилла (Ахиллеса). Памятник расположен в юго-восточном углу Гайд-парка.

Хиберт поджала губы, пожала плечами и сказала «*ну хорошо*», словно могла бы и возразить, найдись у нее на то достаточно веский аргумент. Однако сэр Уильям заждался, и его хмурый взгляд был более весомым аргументом.

Итак, Филлис отправилась одна в отдаленный и нефешенебельный квартал Лондона, где жили Тристрамы. Хоть в чем-то им можно было позавидовать. Лепные фасады, безупречные улицы Белгравии и Южного Кенсингтона казались Филлис воплощением ее участи – жизни, вынужденной развиваться по уродливым традиционным образцам, чтобы не отличаться от остальных. «*Но если жить здесь, в Блумсбери*, – начала рассуждать она, взмахнув рукой, пока ее кэб ехал по большим тихим площадям под бледно-зелеными кронами деревьев, – *можно стать кем захочется*». Здесь было просторно и свободно, а в грохоте и великолепии Стрэнда она ощущала реальность жизни, от которой лепнина и колонны надежно защищали ее.

Кэб Филлис остановился под несколькими освещенными окнами, которые, будучи открытыми летним вечером, позволяли разговорам и жизни внутри выплескиваться на тротуар. Филлис с нетерпением ждала, когда ей откроют дверь, чтобы войти и присоединиться. Но, оказавшись в комнате, она поняла, как выглядит, ибо точно знала, что в таких ситуациях ее внешний вид напоминает дам с картин Ромни²⁴.

²⁴ Джордж Ромни (1734–1802) – английский художник. Элегантные платья, которые носили женщины на его портретах, вышли из моды и были неуместны на

Она увидела себя входящей в прокуренную комнату, где люди сидели на полу, и хозяйку, одетую в охотничью куртку, с высоко поднятой маленькой головой и поджатыми губами, словно позирующую для шаржа. Белый шелк и вишневого цвета ленты заметно выделяли ее. Чувствуя разницу между собой и остальными, Филлис сидела молча, почти не пользуясь паузами, отведенными для нее в разговоре. Она то и дело оглядывала дюжину сидевших рядом людей, испытывая недоумение. Разговор шел о какой-то выставке, а достоинства картин обсуждались с технической точки зрения. Как Филлис вступить в беседу? Картины она видела, но знала, что ее банальные суждения не выдержат испытания вопросами и критикой, которым они подвергнутся. К тому же она знала, что здесь нет места женским штучкам, которые многое могут прикрыть. Время шло, а поскольку дискуссия была жаркой и серьезной, никто из участников не хотел, чтобы его сбили с толку нелогичными аргументами. Поэтому она сидела и наблюдала, чувствуя себя птицей с подрезанными крыльями, и ей было очень горько, ведь она никогда не чувствовала себя так неуютно ни на балу, ни в театре. Филлис повторяла про себя горькую аксиому о том, что она оказалась между двух стульев, а тем временем старалась трезво осмыслить услышанное. Розамунда намекнула с другого конца комнаты, что она в таком же затруднительном положении.

Наконец спорщики разошлись, и разговор снова стал общим, но никто не извинился за ту напряженность, а общий разговор, по мнению девиц Хибберт, если и касался тривиальных тем, то, как правило, выражал презрение к обыденности, и никто этого не стеснялся. Но было интересно, и Розамунда достойно выступила в обсуждении какой-то черты характера, о которой зашла речь, хотя с удивлением обнаружила, что ее важнейшие открытия были взяты за отправную точку для дальнейшего обсуждения и не считались окончательными выводами.

Более того, девицы Хибберт с удивлением и даже ужасом обнаружили, как сильно повлияло на них воспитание. В какой-то момент Филлис готова была выпороть себя за инстинктивное неодобрение очередной шутки над христианством, которую Тристрамы отпустили и встретили легкими аплодисментами, словно религия – это пустяк.

Но еще более удивительным для девиц Хибберт стало то, как обсуждались близкие им темы, ведь они думали, что даже в этой странной атмосфере *«жизненные вопросы»* очень важны. Мисс Тристрам, молодая красавица и многообещающая художница, обсуждала замужество с джентльменом, который, похоже, был лично заинтересован в данном вопросе. Однако свобода и откровенность, с которой оба они излагали свои взгляды и теории по поводу темы любви и брака, казалось, выставляли все это в новом и поразительном свете. Это очаровало юных леди больше, чем все, что они когда-либо

видели и слышали. Они определенно льстили себе, считая, будто все взгляды и точки зрения на данный вопрос им известны, но это было нечто не только новое, но и несомненно истинное.

— *Мне еще ни разу не делали предложения; интересно, каково это,* — откровенно и задумчиво произнесла младшая мисс Тристрам, и Филлис с Розамундой почувствовали, что им следует поделиться своим опытом со всеми. Но ведь они не могли так быстро приспособиться к новому для них способу мышления, да и опыт их был совершенно другим. Любовь для девиц Хибберт являлась следствием определенных расчетливых действий; ее лелеяли в бальных залах и благоухающих оранжереях особыми взглядами, взмахами веера и робкими заигрывающими интонациями. Здесь же любовь была крепкой бесхитростной штукой, которая выставлялась напоказ, обнаженная и объемная, чтобы ее щупали и изучали, кому и как заблагорассудится. Даже если бы Филлис и Розамунда были вольны любить по-своему, они очень сомневались, что смогут любить так. В стремительном порыве юности они осудили себя и решили, что все попытки вырваться на свободу тщетны: долгое заточение развратило их как изнутри, так и снаружи.

Так они и сидели, не осознавая причин своего молчания, будто люди, которых холод и ветер не пускают на праздник и которых не видят пирующие в тепле. Но на самом деле присутствие этих двух молчаливых молодых женщин с жажду-

щими общения глазами угнетало всех, хотя люди и не понимали, почему именно; думали, что, может, им просто скучно. Девицы Тристрам, однако, чувствовали свою ответственность, и мисс Сильвия Тристрам, младшая, после короткого шепота с сестрой завела с Филлис разговор наедине. Филлис вцепилась в него, как собака в кость; на лице ее появилось хищное выражение, ибо она чувствовала, что время летит, а суть этого странного вечера остается для нее непостижимой. Пускай она не могла полностью открыться, зато могла попытаться объяснить, что именно ей мешает. Ей страстно хотелось доказать себе, что у ее молчания есть веские причины, и если она почувствует, что мисс Сильвия – цельная женщина, несмотря на ее безличные обобщения, то появится надежда, что однажды они смогут найти общий язык. Когда Филлис наклонялась вперед, чтобы заговорить, у нее возникало странное чувство, будто она лихорадочно ищет в массе фальши и легкомыслия ту цельную частицу подлинного «Я», которая, как она полагала, где-то спрятана.

– О, мисс Тристрам, – начала она, – вы все такие замечательные, что мне действительно не по себе.

– Смеетесь над нами? – спросила Сильвия.

– С чего бы мне смеяться? Разве вы не видите, какой душой я себя чувствую?

Сильвия начала понимать, и это ее заинтересовало.

– Ваша жизнь так удивительна и так странна для нас.

Сильвия, которая имела писательский опыт и получала

литературное удовольствие от того, что видела свое отражение в чужих зеркалах, и от того, что отражала в собственном зеркале жизнь других людей, с энтузиазмом принялась за дело. Раньше она никогда не считала Хиббертов личностями, а называла их «юными леди». Теперь она уж точно была готова исправить свою ошибку как из тщеславия, так и из подлинного любопытства.

– *Чем вы занимаетесь?* – вдруг спросила она, беря быка за рога.

– *Чем я занимаюсь?* – эхом отозвалась Филлис. – *О, я закладываю ужин и расставляю цветы.*

– *Да, но чем вы занимаетесь?* – настаивала Сильвия, которая была полна решимости не дать сбить себя с толку общими ответами.

– *Это и есть мое дело; хотела бы я, чтобы это было не так! В самом деле, мисс Тристрам, не нужно забывать, что большинство молодых жениц – рабыни; и не стоит оскорблять меня лишь потому, что вам посчастливилось быть свободной.*

– *Умоляю вас,* – вспыхнула Сильвия, – *что вы хотите этим сказать? Я хочу знать. Мне нравится разбираться в людях. В конце концов, вы же знаете, что человеческая душа – это самое важное.*

– *Да,* – сказала Филлис, стараясь держаться подальше от философствования. – *Но наша жизнь проста и заурядна. Вы, должно быть, знаете десятки таких, как мы.*

— Я узнаю вас по вечерним платьям, — сказала Сильвия, — и вижу, как на приемах вы проходите передо мной красивыми процессиями, но я ни разу не слышала, чтобы вы говорили. Вы и внутри такие же настоящие? — Ей показалось, что она задела Филлис, и она решила сменить тон: — Рискну предположить, что мы с вами сестры. Но почему же мы с виду такие разные?

— О нет, мы не сестры, — с горечью сказала Филлис, — по крайней мере, мне будет жаль вас, если это так. Видите ли, нас готовили лишь к вечерним приемам и произнесению красивых речей, и к замужеству, я полагаю, и мы, конечно, могли бы поступить в колледж, если бы захотели, но поскольку не сделали этого, то мы всего лишь благовоспитанные барышни со светскими навыками.

— Мы не ходили в колледж, — сказала Сильвия.

— Но ведь вы не просто благовоспитанные барышни? Конечно, вы и ваша сестра настоящие, а мы с Розамундой — обманищицы, по крайней мере я. Но разве это не очевидно теперь, разве вы не видите, насколько идеальная у вас жизнь?

— Я не вижу причин, почему бы вам не делать то, что нравится, как это делаем мы, — сказала Сильвия, оглядывая комнату.

— Думаете, мы можем принимать у себя таких людей? Мы и подругу-то пригласить не смеем, если только родители не в отъезде.

— Почему нет?

– Во-первых, у нас нет своих комнат; во-вторых, нам никогда не позволят этого сделать. Мы всего лишь дочери, пока не станем замужними женищинами.

Сильвия угрюмо смотрела на Филлис, а та поняла, что говорила о любви с неподобающей откровенностью.

– Вы хотите выйти замуж? – спросила Сильвия.

– Еще спрашиваете?! Невинное юное создание! Но вы, конечно, абсолютно правы: брак должен быть по любви и все такое. Однако, – продолжала Филлис, – мы не можем думать об этом в таком ключе, как вы. Нам нужно от брака так много, что мы никогда не можем видеть его отдельно от всего прочего – таким, каков он есть или должен быть. К нему всегда примешано множество других вещей. Это и свобода, и друзья, и собственный дом, и все то, что у вас уже есть! Вам это не кажется ужасным и меркантильным?

– Звучит действительно ужасно, но не меркантильно. На вашем месте я бы занялась писательством.

– Ну вот, опять вы за свое, мисс Тристрам! – воскликнула Филлис в комичном отчаянии. – Я не могу донести до вас, что, во-первых, у нас нет мозгов, а во-вторых, если бы они у нас были, мы бы не смогли ими воспользоваться. Господь милосердный создал нас под стать нашему положению. Вот Розамунда могла бы чего-то добиться, но она уже слишком стара.

– Боже мой! – воскликнула Сильвия. – Что за Безысходность! Я бы бросилась в огонь, застрелилась или выпрыгну-

ла из окна — хоть что-то бы сделала!

— Что? — язвительно спросила Филлис. — Может, вы на нашем месте и смогли бы, но лично я в этом сомневаюсь. Нет, — продолжила она более спокойным и циничным тоном, — такова наша жизнь, и мы должны извлечь из нее максимум пользы. Только я хочу, чтобы вы поняли, почему мы пришли сюда и сидим молча. Видите ли, мы бы хотели вести такую жизнь, как у вас, но теперь сомневаемся, что смогли бы. Все вы, — обвела она рукой комнату, — считаете нас кокетливыми модницами; в сущности, так оно и есть. И все же мы бы могли быть кем-то большим. Звучит, наверное, жалко? — тут она сухонько рассмеялась. — Пообещайте мне одну вещь, мисс Тристрам: что будете навещать нас и позволите иногда приходить к вам. А теперь, Розамунда, нам и правда пора.

Они уехали, и уже в кэбе Филлис удивлялась своей вспышке, но чувствовала, что ей это понравилось. Обе девушки были несколько взволнованы — им не терпелось проанализировать свой дискомфорт и выяснить, что он означает. Накануне вечером в этот же час они возвращались домой более угрюмые и одновременно довольные собой; им наскучило то, чем они занимались, но они знали, что хорошо со всем справились. Им грела душу мысль о том, что они способны на нечто гораздо большее. В этот же вечер им не было скучно, однако они не чувствовали, что хорошо справились со своей задачей, когда им выпала такая возможность.

Обсуждение в спальне прошло немного уныло; погружаясь в свое истинное «Я», Филлис впустила в это сокровенное место порыв холодного воздуха. Она спрашивала себя, чего именно хочет на самом деле и на что годится?! Критиковать оба мира и чувствовать, что ни один из них не дает ей того, в чем она действительно нуждается. Филлис и правда была слишком подавлена, чтобы рассказать о случившемся сестре, а приступ откровенности и вовсе убедил ее, что разговоры до добра не доводят, но если она и может что-то сделать, то должна сделать это сама. Перед сном Филлис успела подумать о том, какое же это облегчение, что леди Хибберт распланировала для них весь завтрашний день; во всяком случае, ей не придется думать самостоятельно, а речные прогулки всегда занимательны.

Загадочный случай мисс В.

Рукопись данного рассказа не датирована, но написана тем же пером и чернилами, что и “Филлис и Розамунда” и “Дневник госпожи Джоан Мартин”, то есть, вероятно, летом 1906 года.

Общеизвестно, что нет большего одиночества, чем то, которое испытываешь, когда оказываешься один в толпе, – не устают повторять романисты; пафос очевиден; и теперь, после случая мисс В., я, по крайней мере, начала в это верить. История ее и ее сестры – характерно, что при описании обеих на ум инстинктивно приходит лишь одно имя, – напоминает истории еще дюжины подобных сестер, которых можно назвать на одном дыхании. Такая история вряд ли могла бы случиться где-то еще, кроме как в Лондоне. В деревне это был бы мясник, почтальон или жена священника, но в высокоцивилизованном городе человеческое общение сведено к минимуму. Мясник сбрасывает мясо в подвальный приямок, почтальон заталкивает письмо в ящик, а жена священника, случается, швыряет пастырские послания в ту же удобную цель: все твердят, что нельзя терять ни минуты. И хотя мясо остается несъеденным, письма – непрочитанными, а наставления священника – проигнорированными, никому ни-

чего не становится известно, пока не наступает день, когда эти функционеры негласно приходят к выводу, что посещать дома номер шестнадцать или двадцать три больше не нужно. Они минуют их, совершая обход, а бедная мисс Дж. или мисс В. выпадают из сети социальных связей; их исключают раз и навсегда.

Эта легкость, с которой людей постигает подобная участь, наводит на мысль: нужно заявлять о себе, чтобы не быть исключенным из общества. Как вообще в него вернуться, если мясник, почтальон или полисмен решили вас игнорировать? Ужасная судьба; опрокину-ка я стул; теперь жилец снизу хотя бы знает, что я жива.

Но вернемся к загадочному случаю мисс В., под этим инициалом, надо понимать, скрывается также мисс Джанет В., и вряд ли стоит делить одну букву пополам из-за двух сестер.

Они разъезжали по Лондону уже лет пятнадцать, и вы наверняка встречали их в чьих-то гостиных или на выставках, а когда вы спрашивали: *«Как поживаете, мисс В.»* – как будто привыкли видеть ее каждый день своей жизни, то она отвечала: *«Не правда ли, приятный день»* или *«Какая у нас плохая погода»*, – потом вы шли дальше, а она будто сливалась с креслом или комодом. Во всяком случае, вы не вспоминали о ней, пока примерно через год она не отделялась от мебели, и все происходило точно так же, как в первый раз.

Кровные узы – или что там в жилах у мисс В.? – предопределили мою судьбу сталкиваться с ней – проходить ми-

мо или сквозь нее, как ни назови, — пожалуй, чаще, чем с любым другим человеком, пока это маленькое действие чуть ли не вошло в привычку. Ни одна вечеринка, ни один концерт, ни одна выставка не казались полноценными без этой знакомой серой тени, а если она какое-то время не преследовала меня, то я смутно осознавала, что *чего-то* не хватает. Не стану преувеличивать и говорить, будто знала, что не достает *именно ее*, но нет никакой непочтительности в том, чтобы использовать местоимение среднего рода.

Так, в переполненной комнате я с каким-то смутным беспокойством начинала оглядываться по сторонам — нет, все, казалось бы, на месте, но явно чего-то недоставало в мебели или шторах, — может, гравюру передвинули на стене?

И вот одним ранним утром, проснувшись на рассвете, я громко воскликнула: «*Мэри В. Мэри В!!!*» Впервые, я уверена, кто-то прокричал ее имя с такой уверенностью: обычно оно казалось бесцветным эпитетом, который годился лишь на то, чтобы заполнить пустоту в конце разговора. Но мой голос не вызвал, как я того ожидала, ни образа, ни призрака мисс В., и комната осталась смутной и безликой. Весь день этот возглас эхом отдавался в моем сознании, пока я не утвердилась в мысли, что я, как обычно, случайно встречу ее где-нибудь на улице, увижу, как она растворяется, и успокоюсь. Но она все не появлялась, а я, думаю, была раздосадована. Во всяком случае, однажды ночью, когда я лежала и не могла уснуть, мне в голову пришел странный безумный

план; сначала это была просто прихоть, но с каждым днем она становилась все более реальной и будоражащей: я пойду и лично навещу Мэри В.

Какой безумной, чудной и занятой казалась мне эта идея – выследить тень, узнать, где она живет и живет ли вообще, и поговорить с ней, как будто она такой же человек, как и все мы!

Только представьте себе: поехать на омнибусе²⁵, чтобы увидеть тень голубого колокольчика в Кью²⁶, когда солнце уже клонится к западу, или ловить пух одуванчика в полночь на лугу в Суррее! И все же моя идея была еще безумнее; одеваясь, чтобы отправиться в путь, я все хохотала, думая о том, что моя затея требует столь основательной подготовки. Сапоги и шляпка ради Мэри В. – какой абсурд!

В конце концов я добралась до квартиры, где она жила, и обнаружила табличку с неоднозначной, как и все мы порой, надписью, что мисс В. дома и мисс В. отсутствует. На верхнем этаже я стучала и звонила в ее дверь, ждала и осматривалась, но никто не открывал, и я уже начала задаваться вопросом, могут ли тени умирать и как их хоронить, когда дверь осторожно открыла горничная. Мэри В. два месяца болела; она умерла вчера утром, в тот самый час, когда я выкрикну-

²⁵ Вид городского общественного транспорта, характерный для второй половины XIX века и представляющий собой многоместную повозку на конной тяге. Омнибус являлся предшественником автобуса, поскольку со временем лошадей заменил двигатель.

²⁶ Королевские ботанические сады в одноименном районе Лондона.

ла ее имя. Выходит, я больше никогда не встречу ее тень.

В зачеркнутой концовке, после того как горничная открывает дверь, рассказчица говорит: “Я вошла и увидела сидевшую за столом Мэри В.” Это заменено известием о смерти мисс В.

[Дневник госпожи Джоан Мартин]

Данный рассказ был написан в августе 1906 года, когда Вирджиния и Ванесса²⁷ гостили в Бло-Нортон-холле, Ист-Харлинг, Норфолк (см. ВВ-Д-0). Вирджиния описывает ели-заветинский дом и сельскую местность, а также упоминает рукопись своего рассказа в письмах к Вайолет Дикинсон²⁸ (см. ВВ-П-I, №№ 281–283).

Возможно, мои читатели не знают, кто я такая. Поэтому, хотя подобная практика необычна и не принята – ведь мы знаем, насколько скромны писатели, – я без колебаний скажу, что я мисс Розамунда Мерридю сорока пяти лет от роду – я неизменно честна! – и что я завоевала значительную известность в своей профессии благодаря исследованиям системы землевладения в средневековой Англии. В Берлине мое имя на слуху; во Франкфурте устроили бы суаре в мою честь, не говоря уже о том, что обо мне порой судачат в кулуарах Оксфорда и Кембриджа. Возможно, прозвучит убедительней – такова уж природа человека, – если я заявлю, что променяла мужа, семью и дом, в котором могла бы

²⁷ Ванесса Белл (1879–1961) – художница и дизайнер, старшая сестра ВВ.

²⁸ Вайолет Дикинсон (1865–1948) в течение многих лет была самой близкой подругой ВВ.

встретить старость, на фрагменты пожелтевшего пергамента: лишь немногие могут их прочесть, и еще меньшее число людей захотели бы их читать, даже если бы могли. Но как матери, о которых я иногда не без любопытства читаю в соответствующей литературе, лелеют своих самых уродливых и глупых отпрысков, так и я испытываю какую-то материнскую любовь к этим сморщенным и блеклым карликам; в реальной жизни я вижу их калеками с несуразными лицами, но все же с блеском гениальности в глазах. Не буду разжевывать эту фразу: шансов на успех не больше, чем если бы одна из тех матерей, с которыми я себя сравниваю, решила объяснить, почему ее калека-сын на самом деле прекрасный мальчик и почему он красивее своих братьев.

В любом случае мои исследования сделали из меня странствующую корабейницу, вот только я привыкла покупать, а не продавать. Я бываю в старых фермерских коттеджах, в обветшалых усадьбах, в домах священников, в церковных ризницах и всегда с одним и тем же вопросом: *«А можете показать мне какие-нибудь старые бумаги?»* Нетрудно догадаться, что лучшие времена этого «спорта» прошли; старье стало самым ходовым товаром, а государство со своими комиссиями [комитетами?], можно сказать, положило конец частным изысканиям. Мне часто говорят, что какой-то чиновник обещал приехать и ознакомиться с архивами владельцев, и это самое «обещание государства» лишает мой жалкий частный голос всякой убедительности.

И все же не мне жаловаться, особенно если вспомнить весьма ценные находки, которые наверняка вызвали бы неподдельный интерес у историков, а некоторые из них, в силу своей отрывочности и неожиданной яркости, радуют меня и того больше. Внезапный свет, падающий на ноги леди Элизабет Партридж, освещает всю Англию, включая короля на троне. Ей понадобились чулки! И ничто другое не позволяет так ощутить реальность средневековых ног и, следовательно, средневековых тел, и, если подняться на самый верх, средневековых мозгов, – и вот вы уже оказываетесь в той самой эпохе, в ее начале, середине или конце. И это подводит меня к продолжению рассказа о собственных достижениях. Говорят, мои исследования системы землевладения в XIII, XIV и XV веках вдвойне ценны благодаря моему замечательному таланту представлять материал в контексте жизни того времени. Я имею в виду, что особенности землевладения не всегда так уж сильно определяли жизнь мужчин, женщин и детей; я часто позволяю себе намекать, что эти особенности, которые так сильно восхищают нас, служат скорее свидетельством небрежности наших предков, нежели их удивительной скрупулезности. Ибо какой здравомыслящий человек, дерзну заметить, стал бы тратить свое время на усложнение законов в угоду полудюжине антикваров, которые родятся через пять сотен лет после того, как он сойдет в могилу?!

Мы не будем разбирать здесь данный аргумент, из-за ко-

торого я нанесла и получила множество сильнейших ударов; я подняла эту тему только для того, чтобы объяснить, почему я сделала эти исследования лишь фоном для отдельных сцен семейной жизни, включенных в мой текст, – как цветок, выросший из переплетенных корней; как искра, высеченная из кремня.

Если вы прочтете мою работу под названием «Манориальные свитки²⁹», вас восхитят или возмутят – тут уж все зависит от темперамента – некоторые отступления в тексте.

Я не постеснялась посвятить несколько страниц, набранных крупным шрифтом, живому, как на картине, изображению той или иной сцены из жизни людей того времени; вот я стучусь в дверь крепостного и застаю его жарящим кроликов, на которых он незаконно охотился; вот владелец поместья отправляется в очередное путешествие или выводит собак на прогулку в поле, или сидит в кресле с высокой спинкой, старательно выводя цифры на глянцевом листе пергамента. А вот леди Элинор за шитьем, рядом с ней на низком табурете сидит дочь и тоже шьет, но менее усердно. *«Дитя мое, ты выйдешь замуж быстрее, чем сошьешь себе приданое»*, – упрекает мать.

Ах да, чтобы увидеть всю картину, нужно изучить мою книгу! Критики всегда попрекают меня двумя вещами: во-

²⁹ Административно-судебные документы английского поместья (манора) в Средние века, служившие земельным реестром, сборником законов общины и хроникой местных судов.

первых, говорят они, подобные отступления были бы хороши в книгах по истории того времени, но они не имеют никакого отношения к системе средневекового землевладения; во-вторых, жалуются они, я не привожу никаких доказательств, чтобы придать своим словам хоть какую-то убедительность. Хорошо известно, что выбранный мною период более скуден на записи частных лиц, чем любой другой, и если вы не черпаете свое вдохновение из «Писем Пэстонов»³⁰, то вам, как и любому другому рассказчику, придется довольствоваться лишь воображением. И это, как мне говорят, в каком-то смысле полезное дело, вот только оно не имеет ничего общего с более суровым искусством историка. Но здесь я снова возвращаюсь к тому знаменитому спору, который я с таким рвением вела в «Историческом ежеквартальнике». Пора заканчивать с этим вступлением, иначе какой-нибудь своенравный читатель может захлопнуть книгу и заявить, что ему уже все понятно: *«Опять двадцать пять – склоки антикваров!»* Позвольте мне подвести под этим черту и оставить позади все вопросы о добре и зле, правде и вымысле.

Одним июньским утром два года назад мне случилось ехать по Тетфорд-роуд из Нориджа в Ист-Харлинг³¹. Я воз-

³⁰ «Письма Пэстонов: 1422–1509» – собрание переписки между членами дворянской семьи Пэстон из Норфолка и другими людьми. Сборник был заново отредактирован и опубликован (1904) историком Джеймсом Герднером в шести томах.

³¹ Норидж и Ист-Харлинг – город и деревня в графстве Норфолк.

вращалась с самой что ни на есть бесплодной вылазки в поисках документов, которые, как я полагала, покоятся в руинах Кайстерского аббатства³². Потратить мы на изучение собственных руин хотя бы десятую часть тех сумм, что ежегодно идут на раскопки греческих городов, история Англии выглядела бы совершенно иначе!

Вот чем были заняты мои мысли, и все же зоркий археологический взгляд продолжал невольно изучать местность, по которой мы проезжали. Именно благодаря археологическому чутью я в какой-то момент подскочила в своей повозке и приказала кучеру резко повернуть налево. Мы проехали по аллее древних вязов, но настоящей приманкой, привлечшей мое внимание, стала небольшая древняя стена в конце дороги, изысканно обрамленная зелеными ветвями, и дверной проем, очерченный резными линиями по белому камню.

Когда мы приблизились, оказалось, что дверной проем окружен длинными низкими стенами с бежевой штукатуркой, а поверх них на небольшой высоте была крыша из красной черепицы, и наконец передо мной предстал весь этот величественный дом, построенный буквой «Е», хотя средняя его часть уже исчезла.

Это была одна из тех скромных старинных усадеб, которые спустя много веков сохранились почти нетронутыми и никому не известными, ибо они слишком незначительны, чтобы их сносить или перестраивать, а владельцы слишком

³² Возможно, Кайстерский замок – крепость XV века в Норфолке.

бедны для подобных амбиций. Потомки основателя продолжают жить там, странным образом не замечая уникальности своего дома, частью которого они являются в той же степени, что и высокий кухонный дымоход, почерневший от многовекового дыма. Конечно, они бы предпочли дом побольше и, я уверена, не сразу решились бы продать этот старый, если бы им предложили хорошие деньги. Однако есть какое-то естественное и бессознательное ощущение аутентичности. Невозможно сентиментально относиться к дому, в котором твоя семья живет уже пятьсот лет. Это именно то место, думала я, звоня в дверной колокольчик, хозяева которого наверняка владеют уникальными рукописями и продадут их первому попавшемуся старьевщику так же легко, как продали бы помой для свиней или старую древесину. В конце концов, я болезненно эксцентрична, а эти люди вполне здоровы и адекватны. *«Они что, сами писать не умеют?»* – скажут мне. – *«Да и чего стоят старые письма? Я всегда сжигаю свои или делаю из них “иляпки” для банок с вареньем».*

Наконец мне открыла горничная и задумчиво уставилась на меня, словно пытаясь вспомнить, кто я такая и по какому делу явилась.

– *Кто здесь живет?* – спросила я.

– *Мистер Мартин,* – изумленно ответила она, как будто я спросила имя нынешнего короля Англии.

– *А имеется ли миссис Мартин, дома ли она, и могу ли я ее увидеть?*

Девушка махнула рукой, чтобы я следовала за ней, и молча повела меня к человеку, который, надо думать, был готов взять на себя ответственность отвечать на мои странные вопросы.

Меня провели через большой зал, обшитый дубовыми панелями, в комнату поменьше, где румяная женщина моего возраста шила на машинке пару брюк. Она выглядела как экономка, но горничная шепнула мне на ухо, что это миссис Мартин.

Она встала, жестом давая понять, что не привыкла принимать гостей по утрам, но все же ясно показывая, что, будучи хозяйкой дома, имеет право узнать, с какой целью я пришла.

У антикваров есть ряд правил, первое и самое простое из которых заключается в том, что при первой встрече не стоит называть свою истинную цель.

– Я проходила мимо вашего дома и взяла на себя смелость – должна сказать вам, я большая поклонница живописных мест – позвонить в дверь, надеясь, что мне позволят осмотреть дом. На мой взгляд, он особенно прекрасен.

– Позвольте узнать, вы хотите его арендовать? – спросила миссис Мартин с приятным акцентом.

– Значит, вы сдаете комнаты? – спросила я.

– О нет, – решительно ответила миссис Мартин. *– Этого мы никогда не делаем. Я подумала, что вы, возможно, хотите снять весь дом.*

– Он немного великоват для меня, хотя у меня есть дру-

Зья...

— *Что ж, в таком случае, — радостно прервала меня миссис Мартин, отбросив мысли о выгоде и просто желая проявить любезность, — думаю, я буду рада показать вам дом. Сама я не разбираюсь в антиквариате и никогда не слышала, что у нас какой-то особенный дом. И все же это приятное место, особенно после Лондона.*

Она с любопытством оглядела мое платье и фигуру — признаться, под ее ясным и немного сочувственным взглядом я почувствовала себя особенно сгорбленной и ответила на ее негласный вопрос. Действительно, пока мы прогуливались по длинным коридорам, отделанным приятными глазу побеленными дубовыми панелями, пока заглядывали в безупречно чистые комнатки с квадратными окнами в зеленых рамах, выходящими в сад, я увидела простую, но вполне добротную мебель, и мы обменялись немалым числом вопросов и ответов. Ее муж был довольно крупным фермером, но земля сильно подешевела, и теперь им пришлось перебраться в усадьбу, которую не могут сдать, а для них двоих она слишком велика, да еще эти проклятые крысы. Она не без гордости отметила, что усадьба принадлежит семье ее супруга уже много лет — она не знала, сколько точно, но, по слухам, Мартин когда-то были знатными людьми в округе. Она даже обратила мое внимание на то, как благородно звучит и выглядит на письме их фамилия³³. Тем не менее в ее гордо-

³³ Имеется в виду, что их фамилия пишется как Martyn, а не Martin.

сти чувствовалась и горечь: она говорила как человек, который на собственном горьком опыте убедился, что от благо-родного происхождения толку мало, когда кругом обветша-лые крыши, дешевая земля и расплодившиеся крысы.

Несмотря на то, что комнаты были безупречно чистыми и ухоженными, в них чувствовалась какая-то пустота: выделялись массивные дубовые столы, а единственными украше-ниями были оловянные кружки да фарфоровые тарелки – и все это, на мой пытливый взгляд, наводило какой-то ужас. Похоже, всякая мелочь, что обычно придает дому уют, была продана. Однако достоинство хозяйки не позволяло предпо-ложить, что когда-то здесь было иначе. И все же в том, как она показывала мне почти пустые комнаты, как сравнива-ла нынешнюю скудость с прежним достатком, мне чудилось едва уловимое сожаление, будто на языке у нее вертелось, что *«раньше здесь было лучше»*. Она будто извинялась, ведя меня из одной спальни в другую, затем в комнаты, которые могли служить гостиными, если бы у людей было время там сидеть, и словно пыталась дать понять, что вполне осозна-ет несоразмерность этого дома ее собственной крепкой фи-гуре. Все это вместе взятое мешало задать вопрос, который волновал меня больше всего: *«А есть ли у вас книги?»* И я уже начала было думать, что слишком надолго отвлекла ра-душную хозяйку от работы за швейной машинкой, как вдруг миссис Мартин, услышав свист с улицы, выглянула в окно и крикнула что-то про обед, а затем повернулась ко мне и с

легкой застенчивостью, но явным радушием пригласила пообедать с ними.

— Джон, мой муж, разбирается в нашем старье гораздо лучше меня, и я знаю, что он будет рад возможности с кем-нибудь о нем поговорить. Я твержу ему, что у него это в крови, — рассмеялась она, и я не нашла ни одной веской причины отказываться от приглашения.

В отличие от жены, Джон не подпадал ни под один привычный типаж. Это был мужчина средних лет и среднего телосложения, с темными волосами и смуглым лицом, хотя кожа при этом имела болезненную бледность, не слишком характерную для фермера. У него были длинные усы, которые он все время поглаживал рукой удивительно правильной формы. Глаза у Джона были светло-карие, и мне в них почудилась легкая подозрительность, когда его взгляд остановился на мне. Однако заговорил он с еще более выраженным норфолкским акцентом, чем жена, а его речь, как и одежда, свидетельствовали о том, что передо мной действительно солидный фермер из Норфолка, даже если внешность могла сбить с толку.

Он лишь кивнул, когда я сказала, что его жена любезно показала мне дом, а затем, посмотрев на нее с огоньком в глазах, заметил: *«Будь ее воля, старый дом достался бы крысам. Мол, он чересчур велик, и в нем слишком много призраков. Верно, Бетти?»* Она лишь едва заметно улыбнулась, как будто давным-давно исчерпала аргументы для этого спора.

Я хотела порадовать мистера Мартина, указав на красоту и возраст дома, но моего восторга он не разделил – лишь сосредоточенно жевал холодную говядину и равнодушно говорил «да» или «нет».

Висевший у него над головой портрет, написанный, возможно, во времена Карла Первого³⁴, был так похож на самого мистера Мартина, особенно если воротничок и твид сменить на горгеру³⁵ и шелковый камзол, что я не преминула отметить это сходство.

– *О да*, – сказал он без особого интереса, – *это мой дед, а может, дед моего деда. У нас здесь сплошные деды.*

– *Это тот Мартин, который сражался при Бойне*³⁶? – небрежно спросила Бетти, положив мне на тарелку еще один кусок говядины.

– *При Бойне?! –* воскликнул ее муж с недоумением и даже раздражением. – *Дорогая, ты путаешь его с дядей Джаспером? Он умер задолго до Бойнской битвы. Его зовут Уиллоби*, – продолжил он, обращаясь ко мне, словно желая, чтобы я досконально разобралась в данном вопросе, ибо грубая ошибка в таких простейших сведениях просто недопустима, даже если сам факт не представляет никакого интереса.

³⁴ Карл I (1600–1649) – король Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 года.

³⁵ Круглый плоский гофрированный воротник из накрахмаленной ткани и кружев.

³⁶ Крупнейшее сражение в истории Ирландии, решающая битва Войны двух королей (1689–1691) между армиями свергнутого Якова II и Вильгельма III в ходе Славной революции.

– Уиллоби Мартин родился в 1625-м и умер в 1685 году; он сражался при Марстон-Муре³⁷ в чине капитана отряда норфолкцев. Мы всегда были роялистами. Во времена протектората его сослали, он уехал в Амстердам, где купил у герцога Ньюкасла³⁸ гнедую лошадь – у нас до сих пор есть эта порода, – а потом вернулся при Реставрации³⁹, женился на Салли Хэмптон из поместья (их род угас в прошлом поколении), и у них было шестеро детей: четыре сына и две дочери. Он купил Нижний луг, ты же помнишь, Бетти, – резко бросил Джон жене, подстегивая ее необъяснимо слабую память.

– Прекрасно помню, – спокойно ответила она.

– Он прожил здесь остаток жизни; умер от оспы, или того, что называли тогда оспой, а еще заразил свою дочь Джоан. Оба похоронены в одной могиле вон в той церкви.

Мистер Мартин указал пальцем в окно и продолжил обещать. Все это было сказано так резко и даже грубовато, слов-

³⁷ Сражение при Марстон-Муре в ходе Английской гражданской войны (2 июля 1644 года).

³⁸ Уильям Кавендиш (1592–1676) – 1-й герцог Ньюкасл-апон-Тайн, английский энциклопедист и аристократ, поэт, наездник, драматург, фехтовальщик, политик, архитектор, дипломат и военный; предок леди Оттолин Моррелл. Находясь в изгнании после поражения в бою при Марстон-Муре, он вывел породу лошадей кремового цвета и создал в Антверпене знаменитую школу верховой езды, которую после Реставрации открыл в Уэльбеке.

³⁹ Реставрация Стюартов (1660–1688) – восстановление на территории Англии, Шотландии и Ирландии монархии, упраздненной указом парламента от 17 марта 1649 года.

но он исполнял какую-то обременительную обязанность, но все равно продолжал рассказывать, словно по привычке, хотя эта история давно ему наскучила.

Я не могла не выказать своего интереса к его рассказу, хотя и осознала, что мои вопросы явно не вызывают интереса у хозяина.

— *Похоже, у вас есть какой-то странный интерес к моим предкам,* — заметил он, нахмурившись, не то шутя, не то раздражаясь.

— *После обеда ты должен показать ей картины, Джон,* — вставила его жена, — *и всякое старье.*

— *О, было бы чудесно,* — сказала я, — *но мне неловко отнимать ваше время.*

— *О, Джон столько всего знает; он прекрасно разбирается в живописи.*

— *Любой дурак знает собственных предков, Бетти,* — проорычал ее муж, — *и все же, если вам действительно интересно, мисс, я с радостью все покажу.*

Его любезность и то, как он распахнул передо мной дверь, заставили меня вспомнить о благородстве их фамилии.

Он провел меня по дому, указывая хлыстом на одно темное полотно за другим и резко бросая по два-три слова описания каждому; портреты, очевидно, висели в хронологическом порядке, и, несмотря на грязь и полумрак, поздние из них были слабее по исполнению и изображали менее представительных людей. Военные мундиры встречались все ре-

же, и в XVIII веке мужчины семьи Мартин были запечатлены в табачного цвета одежде простого покроя, а их потомок кратко обозначал их мне как «*фермеров*» и «*того, кто продал ферму Фэн*». Жены и дочери со временем вовсе исчезли, словно портреты стали восприниматься не как дань красоте, а как неперенный атрибут главы дома.

И все же в голосе этого человека я не уловила никаких признаков того, что мистер Мартин переживает по поводу упадка своей семьи, на членов которой он указывал хлыстом для верховой езды: в его тоне не было ни гордости, ни сожаления; он звучал ровно, как у человека, рассказывающего историю, настолько заученную, что слова давно утратили всякий смысл.

– *А вот и последний из них – мой отец*, – сказал он, после того как мы медленно обошли зал вдоль стен с картинами.

Я взглянула на холст: портрет, как я поняла, был написан в начале 1860-х каким-то странствующим художником, чья кисть не знала отступлений от натуры. Неумелая рука лишь подчеркнула грубость черт и резкость цвета лица; художнику было легче изобразить фермера, чем передать то тонкое равновесие качеств, которое, по всей видимости, сочеталось и в отце, и в сыне. Художник впихнул натурщика в черный сюртук и туго повязал ему на шею белый галстук – бедный джентльмен, видно, так и не почувствовал себя в этой одежде свободно.

– *А теперь, мистер Мартин*, – сочла я своим долгом ска-

зять, — *хочу лишь поблагодарить вас и вашу жену за...*

— *Подождите минутку, —* прервал он, — *мы еще не закончили. Есть книги.*

В его голосе слышалось какое-то полушутливое упрямство, как у того, кто, несмотря на собственное безразличие к делу, полон решимости довести его до конца.

Он открыл дверь и пригласил меня войти в небольшую комнату, вернее, кабинет, потому что стол, заваленный бумагами, и стеллажи, уставленные бухгалтерскими книгами, наводили на мысль, что именно здесь хозяин поместья ведет свои дела. Для украшения служили звериные лапы и хвосты, а еще повсюду, на полках и стенах, виднелись чучела животных: они поднимали безжизненные лапы и ухмылялись, высунув гипсовые языки.

— *Эти бумаги древнее картин,* — сказал он, наклоняясь и с усилием поднимая толстую пачку желтых бумаг. Они не были переплетены или как-то иначе скреплены, а лишь перевязаны толстым шнуром из зеленого шелка с полосками на обоих концах — таким обычно скрепляют пачки засаленных документов, вроде счетов от мясника и квитанций за год. — *Это лишь первая пачка,* — сказал он, перебирая пальцами листки, как колоду карт, — *с 1480 по 1500 год.* — Я, как нетрудно догадаться, ахнула, но сдержанный голос Мартина напомнил мне, что энтузиазм здесь неуместен — он и правда показался какой-то дешевкой в сравнении с подлинной вещью.

— *Ах, и правда, это очень интересно, можно взглянуть?* —

только и вымолвила я, хотя моя непослушная рука дрогнула, когда мне небрежно вложили в нее эту пачку. Мистер Мартин даже предложил смахнуть пыль тряпкой, прежде чем осквернять мою белую кожу, но я заверила его, что это не имеет никакого значения, — возможно, слишком напористо, опасаясь, как бы не нашлось более веской причины, по которой мне бы не позволили поддержать эти драгоценные бумаги.

Пока он склонился возле книжного шкафа, я поспешно прочла первую надпись на пергаменте.

— *Дневник госпожи Джоан Мартин, — продекламировала я, — который она вела в Мартин-холле, Норфолк, в 1480 году от Рождества Христова.*

— *Дневник моей бабушки Джоан, — перебил меня Мартин, оборачиваясь с охапкой книг в руках. — Странная была старушка. Сам я никогда не мог вести дневник. Дальше 10 февраля не заходил, хотя начинал не раз. Взгляните, — он наклонился ко мне, переворачивая страницы и водя пальцем, — тут есть январь, февраль, март, апрель и так далее — все 12 месяцев.*

— *Так вы прочли дневник?* — спросила я в надежде, что он его не читал.

— *О да, читал, — небрежно бросил он, словно в этом не было ничего необычного. — Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к почерку, да и орфография у старушки хромала. Но есть там и странные вещи. Так или ина-*

че, я многое узнал от нее об этой земле. — Он задумчиво барабанил пальцем по стопке бумаг.

— А ее историю вы тоже знаете? — спросила я.

— Джоан Мартин, — начал он голосом шоумена, — родилась в 1495 году [1455?]. Она была дочерью Джайлса Мартина, единственной дочерью. Хотя у него было три сына — у нас обычно сыновья. Она вела этот дневник, когда ей было двадцать пять лет. Она прожила здесь всю жизнь, так и не выйдя замуж. На самом деле она умерла в тридцать. Смею предположить, что вы найдете ее могилу там, внизу, вместе с остальными. А вот это, — сказал он, касаясь толстой книги в пергаментном переплете, — на мой взгляд, еще интереснее. Это домовая книга Джаспера за 1583 год. Посмотрите, как старый джентльмен вел свои счета; что они ели и пили; сколько стоило мясо, хлеб и вино; сколько слуг он держал; лошади, кареты, мебель — здесь есть все. Причем по порядку. У меня их десять штук, — он говорил о них с такой гордостью, с какой не высказывался при мне ни об одной другой своей вещи. — Вот еще хорошее чтиво для зимнего вечера, — продолжил он, — это книга Уиллоби, я вам про него рассказывал.

— Он купил лошадь у герцога и умер от оспы, — бойко повторила я.

— Все верно, — кивнул он. — А вот действительно отличная вещь, — продолжил Джон, знаток, рассказывающий о любимой марке портвейна. — Я бы не продал ее и за £20. Здесь

имена, родословные, жизнеописания, перечни семейных ценностей, потомков – все расписано, как в Библии, – он произнес несколько странных кличек мертвых лошадей, смакуя их звучание, словно вкус вина. – *Спросите жену, если не верите, я и так помню все наизусть,* – рассмеялся он и, аккуратно закрыв том, вернул его на полку. – *Вот здесь книги учета имущества – все вплоть до текущего года; вот самая последняя. А вот история нашей семьи,* – сказал он и развернул длинный пергамент, на котором было начертано замысловатое генеалогическое древо с многочисленными выцветшими росчерками и завитушками средневекового пера.

Ветви со временем разрослись так широко, что их безжалостно обрубали границы листа – например, повисшего в пустоте мужа с десятью детьми, но без жены. Свежими чернилами у самого основания были вписаны имена Джаспера [Джона?] Мартина, хозяина, который показывал мне дом, и его жены Элизабет Клэй; у них было трое сыновей. Его палец проворно скользил по дереву, словно это давно вошло у него в привычку. Голос мистера Мартина журчал, как будто он повторял имена святых или перечислял добродетели в какой-то монотонной молитве.

– *Да,* – заключил он, сворачивая пергамент и откладывая его в сторону, – *пожалуй, эти два документа мне нравятся больше всего. Могу воспроизвести их с закрытыми глазами. Хоть имена дедов, хоть клички лошадей.*

– *Выходит, вы здесь часто занимаетесь?* – спросила я,

несколько озадаченная поведением этого странного человека.

— *У меня почти нет времени,* — ответил он довольно резко, словно после моего вопроса в нем вдруг проснулся фермер. — *Зимними вечерами я люблю читать что-нибудь легкое, и по утрам тоже, если рано проснусь. Иногда беру бумаги в постель. Читаю, чтобы уснуть. Семейные имена легко запоминаются, сами собой. Но я, к сожалению, сроду не был силен в науках.*

Спросив моего разрешения, он раскурил трубку и начал пускать большие клубы дыма, раскладывая тома перед собой по порядку. Но я продолжала держать в руках первую книгу, пачку пергаментных листов, и он, казалось, не замечал ее отсутствия.

— *Полагаю, вам было бы жаль расстаться хоть с чем-то из этих бумаг?* — рискнула спросить я, прикрыв свое истинное желание смешком.

— *Расстаться?* — повторил он. — *С чего бы мне расстаться?* — Мистер Мартин, очевидно, не понял намека, а мой вопрос не вызвал у него подозрений, чего я так боялась. — *Нет-нет,* — продолжал он, — *я нахожу их слишком ценными. Мисс, эти старые бумаги раньше помогали мне отстаивать свои права в суде; кроме того, людям нравится, чтобы рядом была семья; я бы чувствовал себя, ну, вы понимаете, немного одиноким без дедушек и бабушек, дядей и тетюшек,* — он говорил так, словно признавался в своей слабости.

– *Вполне вас понимаю, – сказала я.*

– *Осмелюсь предположить, мисс, что и вам знакомо это чувство, а здесь, в столь уединенном месте, родня ценится гораздо выше, чем вы можете себе представить. Я часто думаю о том, что без своих родственников и знать не знал бы, как скоротать время.*

Ни мои, ни его слова, которые я пытаюсь процитировать, не могут в полной мере передать то странное ощущение от его рассказа: будто все эти родственники – дедушки времен Елизаветы⁴⁰, а то и бабушки времен Эдуарда IV⁴¹ – так сказать, просто притаились за углом. В его голосе, однако, не было ни капли гордости за своих предков – только личная привязанность сына к родителям. Все поколения, казалось, представляли в его сознании в одном и том же чистом свете. Это был не совсем свет сегодняшнего дня, но и не тот, что мы обычно называем светом прошлого. Никакой романтики – только здравомыслие и свет, в котором фигуры прошлого казались солидными, основательными и, пожалуй, очень похожими на то, какими они были при жизни.

Нетрудно вообразить, как Джаспер Мартин возвращается с фермы и с полей и уединяется здесь ради общения со своими предками; как он слышит их голоса почти так же, как голоса рабочих, доносящиеся с полей через открытое окно в

⁴⁰ Елизавета I (1533–1603) – королева Англии и Ирландии с 1558 года и до своей смерти.

⁴¹ Эдуард IV (1442–1483) – король Англии в 1461–1470 и 1471–1483 гг.

жаркий солнечный день.

Теперь, вспоминая свое первоначальное намерение спросить, не продаст ли он эти бумаги, я почти краснела: настолько это казалось неуместным и дерзким. К тому же, как ни странно, на время меня оставил привычный антикварный пыл. Вся моя тяга к старинным вещам, ко всем этим мелким приметам возраста, исчезла, потому что они вдруг показались мне случайными, пустяковыми и совершенно несущественными по сравнению с тем, что стояло за ними на самом деле. В случае с предками мистера Мартина антиквару просто нечего было делать – ровно так же, как и не нужен был сам антиквар для того, чтобы изложить историю этого человека.

Они, сказал бы он мне, такие же люди из плоти и крови, как и я, а тот факт, что они мертвы уже пять столетий, меняет их не больше, чем стекло, которым вы накрываете холст, меняет картину под ним.

И если предложение о покупке было дерзостью, то просьба одолжить казалась вполне естественной, пускай и глуповатой.

– *Что же, мистер Мартин,* – сказала я с меньшим рвением и трепетом, чем могла бы ожидать от себя в подобных обстоятельствах, – *я подумываю остановиться на неделю или около того в вашем округе, в отеле “Swan” в Гартеме, и буду очень признательна, если вы одолжите мне эти бумаги на время моего пребывания, чтобы я могла просмотреть их.*

Вот моя визитка. Мистер Лэйтом (крупный здешний землевладелец) расскажет вам обо мне все. – Я догадывалась, что мистер Мартин не тот человек, которому следует доверять порывам великодушия.

– О, мисс, да бросьте, – небрежно бросил мистер Мартин, как будто моя просьба не заслуживала особого внимания. – Если вам так нравятся эти старые бумаги, можете с ними ознакомиться.

Однако он, по-видимому, все же удивился, и поэтому я добавила:

– Я с большим интересом отношусь к семейным историям, даже если они не мои собственные.

– Пожалуй, это и правда интересно, если у вас есть время на чтение, – вежливо согласился мистер Мартин, хотя мне показалось, что его мнение о моих умственных способностях порядком ухудшилось. – Что именно вам интересно? – спросил он, протягивая руку к хозяйственным журналам Джаспера и племенным книгам Уиллоби.

– Что ж, начну, пожалуй, с вашей бабки Джоан, – сказала я, – мне нравится начинать с истоков.

– Прекрасно, – улыбнулся он, – хотя я не думаю, что вы найдете там что-то необычное; она была такой же, как и все мы, – ничем не примечательной, насколько я могу судить...

И все же я ушла с дневником Джоан под мышкой; Бетти настояла на том, чтобы завернуть его в коричневую бумагу,

дабы скрыть необычность содержимого, ведь я решила нести его сама, а не отправлять с мальчишкой, который развозит письма на велосипеде.

(1)

Нынешнее положение дел, которое, как говорит моя матушка, менее безопасное и менее счастливое, чем когда она была девочкой, заставляет нас держаться в пределах наших собственных владений. После наступления темноты, а в январе солнце садится ужасно рано, мы не должны покидать пределов поместья; мать выходит на улицу с большой связкой ключей, когда становится слишком темно, чтобы шить. «*Все здесь?*» – кричит она и звонит в колокольчик на тот случай, если кто-то из наших мужчин еще работает в поле. Затем она запирает ворота на замок и таким образом отгораживает нас от мира. Иногда я бываю смелой и безрассудной, когда над землей, сверкающей от инея, восходит луна, и мне кажется, будто я чувствую, как вся эта свободная и прекрасная страна: вся Англия, и море, и суша – обрушивается, словно морские волны, на наши железные ворота, снова и снова разбиваясь о них на протяжении длинной непроглядной ночи. Однажды я вскочила с кровати и влетела в комнату матери с криком: «*Впустите их! Впустите их! Мы умираем от голода!*» «*Там солдаты, дитя мое,* – кричала она, – *или ты слышала голос отца?*» Она подбежала к окну, и мы

вместе смотрели на серебристые поля, и все было спокойно. Но я не могла объяснить, что именно мне послышалось; она велела мне идти спать и быть благодарной за то, что между мной и миром есть крепкие врата.

Но в другие ночи, когда дует дикий ветер и луна скрывается за налетевшими тучами, я рада придвинуться поближе к камину и думать о том, что все те злодеи, которые рыщут по переулкам и прячутся сейчас в лесах, не смогут прорваться в наши огромные ворота, как бы они ни старались. Прошлая ночь была именно такой; они часто приходят зимой, когда мой отец в Лондоне, все братья в армии, кроме младшего, Джереми, а маме приходится вести хозяйство, командовать людьми и следить за соблюдением распорядка. После того как церковный колокол пробьет восемь раз, мы не можем жечь свечи и поэтому сидим у горящих поленьев со священником Джоном Сэндисом и одним или двумя слугами, которые спят с нами в доме. Затем моя мать, которой не сидится без дела даже после наступления темноты, сматывает пряжу в клубок, чтобы легче вязалось, в большом кресле у камина. Когда шерсть запутывается, она сильно ударяет железной кочергой, так что искры пламени разлетаются во все стороны; она наклоняется еще ближе к рыжевато-коричневому свету, и можно рассмотреть ее благородную внешность, несмотря на возраст – ей больше сорока, – и глубокие морщины, которыми долгие раздумья исполосовали ей лоб. На матери тонкий льняной чепец, плотно прилегающий к голо-

ве, взгляд глубокий и строгий, а щеки цвета зимних яблок. Быть дочерью этой женщины – великое счастье, и я надеюсь, что когда-нибудь такая же власть будет и у меня. Она правит всеми нами.

Сэр Джон Сэндис, священник, несмотря на все свои церковные обязанности, является слугой моей матери; он покорно, хотя и ворчливо, исполняет ее волю и никогда не бывает так счастлив, как тогда, когда она просит у него совета, но потом все равно поступает по-своему. Произнеси я нечто подобное вслух, пускай даже шепотом, мать устроила бы мне настоящую взбучку, ведь она верная дочь Церкви и почитает своего священника. Есть еще, повторюсь, Уильям и Энн – слуги, которые очень стары, поэтому мать хочет, чтобы они делили с нами тепло. Однако Уильям такой дряхлый, такой сторбленный от посадок и вскапывания, такой измученный и истерзанный солнцем и ветром, что с тем же успехом можно предложить ободранной болотной иве погреться у камина и присоединиться к разговору. И все же память у Уильяма крепкая, как корни дерева, и если бы он мог рассказать нам, что повидал на своем веку, а он порой и правда пытается, то было бы весьма любопытно послушать. Старушка Энн, которая нянчила и меня, и мою мать, до сих пор чинит нашу одежду и знает о домашнем хозяйстве больше, чем кто-либо еще, за исключением моей матери. Энн может рассказать историю каждого стула, стола и гобелена в доме, но больше всего ей нравится обсуждать с матушкой и сэром Джоном

мужчин, которые лучше других подошли бы мне в качестве мужа.

Пока светло, я обязана читать вслух, ибо только я умею читать, хотя мать умеет писать и знает правописание лучше, чем было принято в ее времена, а отец прислал мне из Лондона рукопись мистера Джона Лидгейта⁴² под названием «Стеклянный дворец». Это поэма о Елене и осаде Трои⁴³.

Вчера вечером я читала о Елене, о ее красоте и женихах, о прекрасном городе Трое, а они молча слушали, потому что, хотя никто из нас не знает, где эти места, мы хорошо представляем их; мы оплакиваем страдания воинов и представляем себе эту статную женщину, которая, полагаю, была чем-то похожа на мою мать. Мать топает ногой и живо представляет себе все события – я знаю, ибо вижу, как блестят ее глаза и как она вскидывает голову. *«Наверное, это происходило в Корнуолле, – сказал сэр Джон, – где король Артур⁴⁴ жил со своими рыцарями. У меня есть истории о его деяниях, и я мог бы их рассказать, но память уже подводит».*

– Ах, но есть же прекрасные истории о северянах, – вмешалась Энн, чья мать была родом из тех краев, – я часто пела их своему хозяину, да и вам тоже, мисс Джоан.

⁴² Джон Лидгейт (около 1370–1451) – английский поэт, переводчик, хронист и агиограф, монах-бенедиктинец. ВВ перепутала его поэмы «Храм из стекла» и «Троянская книга».

⁴³ Троянская война, поводом для которой стало похищение Елены Троянской.

⁴⁴ Король Артур – легендарный вождь бриттов в V–VI вв.

– *Читай дальше, Джоан, пока светло,* – велела мать. Мне и правда кажется, что она слушала внимательней всех и больше остальных возмущалась, когда в церкви неподалеку колокола возвестили о комендантском часе. И все же она называла себя старой душой за то, что слушала эти истории, вместо того чтобы заниматься счетами для моего отца, который сейчас в Лондоне.

Когда темнеет и я перестаю видеть текст, они начинают обсуждать положение дел в стране; рассказывают страшные истории о заговорах, сражениях и кровавых деяниях, что творятся вокруг. Но, насколько я могу судить, сейчас все же ничуть не хуже, чем обычно, и мы в Норфолке сегодня мало чем отличаемся от людей во времена Елены, где бы она ни жила. Не в прошлом ли году Джейн Морисон была похищена накануне своей свадьбы?

В любом случае история Елены стара как мир; мать говорит, что эти события произошли задолго до ее рождения, а грабежи и поджоги продолжаются и по сей день. Так что их разговоры заставляют меня, да и Джереми тоже, вздрагивать при каждом шорохе и принимать каждый грохот больших ворот за таран какого-нибудь бродячего разбойника.

Еще хуже, когда приходит время ложиться спать, камин гаснет, и мы на ощупь поднимаемся по огромной лестнице и идем по коридорам, где окна отливают серым, в свои холодные спальни. Окно в моей комнате разбито и заткнуто соломой, но порывы ветра проникают внутрь и треплут гобелен

на стене, а мне начинает казаться, будто на меня несутся лошади и рыцари в доспехах. Прошлой ночью я молилась, чтобы огромные ворота устояли, а грабители и убийцы прошли мимо.

(2)

Рассвет, даже холодный и унылый, не перестает пронзать все мое тело, будто стрелами из сверкающего льда. Я раздвигаю плотные шторы и ищу в небе первые лучи пробивающегося солнца, а значит, и жизни. Прислонившись щекой к оконному стеклу, я представляю, что прижимаюсь как можно плотнее к массивной стене времени, которая вечно поднимается, и притягивает, и вдыхает в нас новую жизнь. Хочу успеть вкусить это мгновение, пока оно не распространилось на весь остальной мир! Хочу вкусить самое новое и самое свежее. Из своего окна я вижу церковный двор, где похоронено множество моих предков, и в своей молитве я жалею этих бедных мертвецов, вечно качающихся на волнах времени, и вижу, как прилив швыряет их туда-сюда. Давайте же пользоваться даром настоящего и радоваться жизни. Признаюсь, эти слова – часть моей утренней молитвы.

Сегодня целый день шел сильный дождь, и мне пришлось провести утро за шитьем. Мать писала отцу письмо, которое Джон Эш возьмет с собой в Лондон на следующей неделе. Мои мысли, естественно, были заняты этим путешествием и

великим городом, который я, возможно, никогда не увижу, хотя и мечтаю о нем. В путь отправляются на рассвете, ведь в дороге лучше проводить как можно меньше ночей. Джон поедет с тремя людьми, которым тоже надо в Лондон; я часто видела, как они отъезжают, и мечтала поехать с ними. Они собираются во дворе, когда на небе еще горят звезды; выходят местные жители, закутанные в плащи и странные одежды, а моя мать выносит каждому путнику по большой кружке крепкого эля. Лошади навьючены спереди и сзади, но не настолько, чтобы мешать им в случае чего пуститься галопом; путники хорошо вооружены и плотно закутаны в меховые одежды, потому что зимние дни коротки и морозны, а ночевать, возможно, придется под живой изгородью. Великолепное зрелище на рассвете; лошади грызут удила и рвутся в путь; толпятся люди. Они желают счастливого пути и передают послания друзьям в Лондоне, а когда часы бьют четыре, путники разворачиваются, прощаются с моей матерью и остальными, а потом спешно отправляются в путь. Многие юноши и девушки провожают путников, пока те не скроются в тумане, ведь мужчины, которые уезжают на рассвете, довольно часто никогда больше не возвращаются домой.

Я представляю, как они целый день едут верхом по заснеженным дорогам, и вижу, как спешиваются у святилища Пресвятой Богородицы и возносят ей почести, молясь о благополучном прибытии. Есть только одна дорога, и она проходит через обширные земли, где живут лишь грабители и

убийцы, ибо им не место среди обычных людей, а жить приходится с дикими животными, которые тоже убивают и обгладывают ваши кости. Жуткая поездка, но, право же, я думаю, что хотела бы хоть раз проделать этот путь по суше, как корабль по морю.

В полдень путники добираются до постоянного двора – они есть на всем пути до Лондона, – где можно передохнуть. Трактирщик рассказывает о том, что ждет путников впереди, и расспрашивает о приключениях на дороге, чтобы предупредить всех, кто едет тем же путем. Однако медлить нельзя, надо ехать дальше, чтобы добраться в безопасное место, прежде чем ночь выпустит на свободу всех свирепых тварей, которые днем прячутся. Джон часто рассказывал, что с наступлением темноты воцаряется тишина, каждый из путников держит наготове ружье, и даже лошади наостряют уши и не нуждаются в понукании. Выезжаешь на гребень холма и с опаской смотришь вниз, не шевельнется ли кто-нибудь в тени елей у обочины. Тогда Робин, веселый мельник, выкрикивает обрывок песни, и все они, взяв себя в руки, смело скачут с холма вниз, опасаясь, что дыхание ветра, словно глубокий вздох женщины, вселит панику в их сердца. А потом кто-нибудь из них приподнимается в стременах и видит вдали огонек ночлежки. И если Богородица к ним милостива, они доберутся до нее в целостности и сохранности, пока мы дома стоим на коленях и молимся за них.

Сегодня утром моя мать оторвала меня от чтения книги и позвала к себе на разговор. Я нашла ее в маленькой комнатке, где обычно сидит мой отец, занимаясь судебными списками⁴⁵ и другими юридическими бумагами. Именно там сидит моя мать, когда исполняет обязанности главы семьи. Я сделала глубокий реверанс, думая, что уже догадалась, зачем она послала за мной.

Перед ней лежал лист, исписанный мелким почерком. Она велела прочесть его вслух, но, прежде чем я успела взять в руки бумагу, мать воскликнула: *«Нет, я сама тебе расскажу»*.

– *Дочь моя,* – торжественно начала она, – *тебе давно пора замуж. В самом деле, лишь беспокойная ситуация в стране,* – вздохнула она, – *и наши собственные затруднения так надолго отсрочили это. Ты сама-то часто думаешь о браке?* – Она посмотрела на меня, хитро улыбнувшись.

– *Я не хочу покидать вас,* – ответила я.

– *Ну что ты, дитя мое, не говори как ребенок,* – рассмеялась она, хотя я думаю, что моя привязанность ей польстила.

– *Кроме того, если выйдешь замуж за того, кого выберу я,* – она постучала пальцем по документу, – *далеко ехать не придется. Ты могла бы, к примеру, управлять землями Кер-*

⁴⁵ Имеются в виду документы поместного суда, связанные с правом собственности.

флинга, чьи владения примыкают к нашим, и стать хорошей соседкой. Владеет ими сэр Эмиас Бигод, представитель древнего рода. Думаю, это самая подходящая партия, о какой мать может мечтать для своей дочери, – рассуждала она, поглядывая на лежащий перед ней документ.

Поскольку я видела сэра Эмиаса всего один раз, когда тот возвращался домой вместе с моим отцом после заседаний в Норидже, и поскольку тогда наше общение ограничилось лишь чинным предложением бокала вина и реверансом с моей стороны, мне нечего было добавить к словам матери. Я знала только, что у сэра Эмиаса красивое искреннее лицо, а если в его волосах и была седина, то не такая сильная, как у моего отца, да и земли его действительно граничили с нашими, так что мы вполне могли бы жить вместе долго и счастливо.

– Ты должна знать, дочь моя, что замужество, – продолжала мать, – это великая честь и тяжкое бремя. Выйдя замуж за такого человека, как сэр Эмиас, ты станешь не только главой его семьи, что уже немало, но и главой его рода на веки вечные, а это еще более ответственно. Мы не говорим о любви так, как поет этот ваш бард, – как о страсти, огне и безумии.

– Он всего лишь выдумщик, матушка, – выпалила я.

– В реальной жизни такого не бывает, по крайней мере мне думается, что это редкость. – Мать привыкла все обдумывать, прежде чем говорить. – Однако это не имеет от-

ношения к делу. Вот, дочь моя, – и она развернула передо мной документ, – письмо от сэра Эмиаса твоему отцу; он просит твоей руки и желает знать, есть ли другие предложения и какое у тебя приданое. Он сообщает нам, что именно дает со своей стороны. Отдаю этот документ тебе, чтобы ты сама прочитала и решила, справедливо ли такое соглашение.

Я уже знала, какие земли и деньги мне полагаются; знала я и то, что раз у отца нет других дочерей, то приданое мое будет немалым.

Чтобы остаться в этом краю, который мне так люб, и жить рядом с матерью, я согласна и на меньшее, чем мне положено как по деньгам, так и по угодьям. Однако серьезность этого обязательства будто прибавила мне несколько лет, когда я получила от матери свиток. С самого детства я постоянно слышала, как родители говорили о моем замужестве, и за последние два-три года, насколько я знаю, было рассмотрено несколько брачных соглашений, которые так ни к чему и не привели. Однако молодость уходит, и мне давно пора решаться на союз.

Конечно, я долго думала, пока в полдень не прозвенел обеденный колокольчик, об огромной чести и бремени брака, как рассуждала о нем матушка. Никакое другое событие в жизни девушки не сулит столь же значительных перемен, ведь если в отцовском доме она была тенью и не привлекала особого внимания, то замужество внезапно придает ей вес,

который нельзя не замечать и с которым отныне будут считаться. Это, конечно, в том случае, если брак сложится удачно. И каждая девушка ждет этой перемены с интересом и тревогой, ибо станет ясно, быть ей вечно почтенной и авторитетной женщиной, как моя мать, или же у нее нет ни веса, ни ценности. Ни в этой жизни, ни в следующей.

И если я удачно выйду замуж, на меня ляжет бремя великого имени и обширных земель; многочисленные слуги будут называть меня госпожой; я стану матерью сыновей; в отсутствие мужа я буду управлять его людьми, заботясь о стадах и посевах и следя за его врагами; в шкафах я буду хранить добротное белье, а сундуки мои будут набиты пряностями и припасами; своей иглой я исправлю и восстановлю то, что поизносилось и пострадало от времени, поэтому, когда я умру, моя дочь обнаружит в шкафах множество изысканных нарядов, причем в лучшем состоянии, чем они достались мне. И когда я умру, местные жители будут три дня приходить к моему телу, молясь и говоря только хорошее, и по воле моих детей священник отслужит мессу за упокой моей души, и в церкви во веки веков будут гореть свечи.

(4)

Посреди этих размышлений меня сперва прервал обеденный колокольчик – опаздывать нельзя, иначе помешаешь молитве сэра Джона и останешься без пудинга, – а затем, когда

я хотела вернуться к своим мечтам о замужестве, мой брат Джереми настоял, чтобы мы прогулялись с Энтони, главным управляющим моего отца, не считая матери, разумеется.

Энтони – грубый человек, но мне он нравится, ведь он верный слуга и знает о земле и овцах столько, сколько не знает ни один другой человек в Норфолке. Именно он в прошлый Михайлов день проломил голову Ланселоту за сквернословие в адрес моей матери. Он вечно ходит по нашим полям и, как я ему говорю, знает их лучше и любит их больше, чем любой другой человек. Он привязан к этому клочку земли и видит в нем множество красот и прелестей, которые мужчины обычно видят в своих женах. А поскольку мы таскаемся за ним с тех пор, как научились ходить, часть его привязанности передалась и нам; Норфолк и местный приход Лонг-Уинтон для меня как родная бабушка: нежная покровительница, дорогая, знакомая и молчаливая, с которой мы однажды еще встретимся. Какое блаженство было бы никогда не выходить замуж и не стареть, а провести всю жизнь бесхитростно и умиротворенно среди деревьев и рек, ведь только среди них можно сохранить спокойствие и детскую непосредственность, несмотря на все беды этого мира! Замужество или любая другая большая радость затуманят ясный взгляд, которым я пока еще обладаю. И при мысли о том, что его можно потерять, я глубоко в душе воскликнула: *«Нет, никогда я не оставляю тебя ни ради мужа, ни ради любовника»*, – и тут же принялась гоняться за кроликами по

пустоши с Джереми и собаками.

День был холодный, но ясный, словно солнце сделано из сверкающего льда, а не из огня, да и лучи его – длинные сосульки, которые тянутся от неба к земле. Они разбивались о наши щеки и мелькали над болотом. И вся округа казалась пустой, если не считать нескольких шустрых кроликов, но целомудренной и прекрасной в своем одиночестве. Мы бегали, чтобы согреться, и болтали, когда в жилах бурлила кровь. Энтони шел прямо, как будто его походка была лучшей в мире защитой от холода. Конечно, когда мы подходили к сломанной изгороди или к силкам для кроликов, он снимал перчатки, опускался на колени, словно на улице лето, и осматривал их. Однажды мы наткнулись на странного человека: ссутулившись, он шел по дороге, одетый во что-то ржаво-зеленое и будто потерянный. Энтони крепко держал меня за руку; по его словам, то был преступник, укрывшийся в святилище и вышедший за дозволенные пределы в поисках пищи. Он грабитель или убийца, а может, просто должник. Джереми клялся, что видел кровь на его руках, но Джереми – всего лишь мальчик, которому хотелось защитить нас всех своим луком и стрелами.

У Энтони были какие-то дела в одном из коттеджей, и мы зашли вместе с ним, чтобы не мерзнуть. По правде говоря, я с трудом вынесла духоту и запах. Там живут Беатрис Сомерс и ее муж Питер, у них есть дети, но их дом больше похож на кроличью нору на вересковой пустоши, чем на дом человека.

Крыша у них из хвороста и соломы, пол – утоптанная земля, из которой не растут ни трава, ни цветы; в углу горел хворост, от дыма щипало глаза. Вместо стульев – гнилое бревно, на котором сидела женщина, кормившая ребенка. Она посмотрела на нас не с испугом, а с недоверием и неприязнью, ясно читавшимися в ее глазах, и еще крепче прижала к себе ребенка. Энтони заговорил так, словно это не женщина, а какое-то животное с острыми когтями и хищным взглядом; он стоял рядом и, казалось, был готов раздавить ее своим огромным ботинком. Женщина не шелохнулась и сидела молча, а я сомневалась, могла ли она вообще говорить или способна только на рычание и вой.

На улице мы встретили Питера, возвращавшегося домой с болот, и, хотя он с нами поздоровался, казалось, в нем не больше человеческих чувств, чем в его жене. Он оглядел нас и, похоже, восхитился моим цветастым плащом, а затем скрылся в своей норе, где будет, полагаю, спать до утра на земле, завернувшись в сухой папоротник. Именно такими людьми мы и должны управлять; их нужно топтать ногами и бичевать, чтобы они выполняли ту единственную работу, на которую способны, иначе они разорвут нас на куски своими клыками. Так говорил Энтони, уводя нас, а потом стиснул кулаки и поджал губы, как будто готов был стереть в порошок этого бедолагу. Но вид того уродливого лица испортил дальнейшую прогулку; казалось, что даже в моей любимой стране расплодились подобные существа. Мне мерещились

такие же глаза в зарослях дрока⁴⁶ и подлеска.

Словно очнувшись от кошмара, я вошла в наш чистый дом, где в огромном камине горели аккуратно уложенные поленья, дуб поблескивал, а мать спустилась по лестнице в своем пышном платье и безупречно чистом чепце на голове. Однако морщинки на ее лице и суровый голос, подумала я вдруг, быть может, связаны с тем, что она всегда видела то, что сегодня увидела я.

(5)

Май.

Весна означает нечто большее, чем появление зелени, ибо поток жизни, кружащий вокруг Англии, вновь освободился ото льда, и мы на нашем маленьком острове снова чувствуем, как прилив бьется о наши берега. За последнюю неделю или две на дорогах были замечены странные путники: либо паломники и торговцы, либо джентльмены, которые путешествуют группами в Лондон или на север. В это время года разум становится нетерпеливым и полным надежд, хотя тело должно оставаться неподвижным. Ибо по мере того, как прибавляется день, а с запада проникает какой-то новый свет, может показаться, будто над землей распространяется более белый свет, непохожий на обычный, и можно почувствовать, как он касается век, когда гуляешь или сидишь и шьешь.

⁴⁶ Род растений семейства Бобовые.

В разгар весеннего ажиотажа и суматохи, одним ясным майским утром мы увидели человека, который шел по дороге быстрым шагом и размахивал руками, словно с кем-то разговаривая. За спиной у него была огромная сумка, в одной руке он держал толстую пергаментную книгу, периодически заглядывая в нее. Все это время он выкрикивал слова в такт шагам, а голос его становился то громче, то тише, угрожая или жалуясь, пока мы с Джереми прятались за живой изгородью. Однако мужчина все равно заметил нас, снял шляпу и отвесил глубокий поклон, на что я ответила реверансом так чинно, как только могла.

— *Госпожа*, — сказал он раскатистым, словно летний гром, голосом, — *могу я спросить: эта дорога ведет в Лонг-Уинтон?*

— *Да, он всего в миле отсюда, сэр*, — ответила я, а Джереми указал направление палкой.

— *Что ж, сэр*, — продолжил он, закрыв книгу и как будто вернувшись в реальность, — *могу я спросить, есть ли здесь дом, в котором мне будет легче всего продать свои книги? Я проделал долгий путь из Корнуолла, пою песни и пытаюсь продать рукописи, которые у меня с собой. Моя сумка все еще полна ими. Времена нынче не благоприятствуют песням.*

И правда, этот человек, несмотря на румяные щеки и крепкое телосложение, одет был так же плохо, как и любой батрак, а ходить в его залатанных сапогах, наверное, сущее

мучение. Но чувствовалась в нем какая-то веселость и учти-вость, словно прекрасная музыка собственных песен вдохновляла его, делала более возвышенным.

Я потянула брата за руку и сказала:

— *Мы сами живем в этом доме, сэр, и с радостью покажем вам дорогу. Я была бы очень рада посмотреть ваши книги.*

Веселый огонек в его глазах тут же погас, и он сурово спросил меня:

— *Вы умеете читать?*

— *О, Джоан — настоящий книжный червь,* — воскликнул Джереми, начав разговор и потянув меня за собой. — *Расскажите нам о своих путешествиях, сэр. Вы бывали в Лондоне? Как вас зовут?*

— *Меня зовут Ричард, сэр,* — улыбнулся путник. — *Несомненно, есть и фамилия, но я ее никогда не слышал. Я родом из Гвивиана, что в Корнуолле, и могу спеть вам больше корнуоллских песен, госпожа, чем любой другой житель герцогства.* — Он повернулся ко мне и взмахнул рукой, в которой держал книгу. — *Вот, например, в этом томике собраны все истории о рыцарях Круглого стола; они написаны рукой самого мастера Энтони [?], а рисунки сделаны монахами из Карн-Бриа. Я дорожусь этой книгой больше, чем женой и детьми, ибо у меня их нет; она для меня — еда и вода, потому что я получаю ужин и ночлег за то, что пою из нее сказки; она для меня — конь и посох, ибо благодаря ей я проделал*

большой путь; и это лучшая из всех спутниц, ибо она всегда может спеть мне что-нибудь новое, и она замолкает, когда я хочу отдохнуть. Подобной книги не сыскать!

Никогда я не слышала, чтобы кто-нибудь говорил так, как он. Его не заботило ни точное выражение собственных мыслей, ни то, понимаем ли мы вообще, о чем он говорит. Но казалось, что произнесенные слова дороги ему, независимо от того, говорит он в шутку или всерьез. Мы дошли до нашего двора, и он приосанился, вытер носовым платком сапоги и попытался быстрыми движениями пальцев привести в порядок свою одежду. Кроме того, он прочистил горло, готовясь петь. Я побежала за матерью, которая медленно подошла и посмотрела на него из верхнего окна, прежде чем пообещала его выслушать.

– У него в сумке полно книг, мама, – убеждала я, – у него есть все Сказания о короле Артуре и Круглом столе; смею надеяться, он сможет рассказать нам, что стало с Еленой, когда ее увез муж. Матушка, давай же послушаем его!

Она посмеялась над моей нетерпеливостью, но велела позвать сэра Джона и была в хорошем настроении, ведь утро стояло чудесное.

Когда мы спустились, Ричард расхаживал взад-вперед, рассказывая моему брату о своих странствиях: как он ударил одного человека по голове, а другому крикнул «ну-ка попробуй», и все они разбежались. Но тут он увидел мою мать и, как принято, снял шляпу.

– Дочь сказала мне, что вы приехали из чужих краев и умеете петь. Мы всего лишь деревенские жители и поэтому, боюсь, очень мало знакомы с легендами о других краях. Но мы готовы слушать. Спойте нам что-нибудь о вашей земле, а потом, если пожелаете, разделите с нами трапезу, и мы с удовольствием послушаем новости из ваших краев.

Мать присела на скамью под дубом, и сэр Джон, пыхтя, встал возле нее. Она велела Джереми открыть ворота и впустить любого из наших людей, кто захочет послушать. Они входили робко, но с любопытством, и стояли, глядя с разинутыми ртами на мастера Ричарда, который снова взмахнул перед ними шляпой.

Он встал на небольшую кочку, поросшую травой, и высоким мелодичным голосом начал историю о сэре Тристраме и леди Изольде⁴⁷.

Он перестал улыбаться и смотрел мимо нас прямым, неподвижным взглядом, словно черпая слова из какого-то видения, стоявшего перед глазами. По мере того как рассказ становился все более напряженным, голос усиливался, кулаки сжимались, он делал шаг вперед и вытягивал руки, а потом, когда влюбленные расстались, он, казалось, увидел, как Леди удаляется от него, и взгляд его устремился вдаль, пока видение не растаяло, а руки не опустились. Затем Тристра-

⁴⁷ Тристан и Изольда – легендарные персонажи средневековых рыцарских романов.

ма ранят в Бретани⁴⁸, и он слышит, что Принцесса плывет к нему по морю.

Но я не могу объяснить, почему мне показалось, будто воздух был полон рыцарей и дам, они ходили среди нас рука об руку, бормоча и не замечая живых, а затем из тополей и буковых деревьев выплывали серые фигуры со сверкающими драгоценными камнями, и утро вдруг наполнилось шепотом, вздохами и причитаниями влюбленных.

Но тут голос смолк, и все эти фигуры исчезли, унеслись по небу на запад, где они и обитают. А когда я открыла глаза, мужчина, серая стена и люди у ворот будто всплыли из каких-то глубин и осели на поверхности, и остались там, ясные и холодные.

– *Бедняжки!* – сказала моя мать.

Тем временем Ричард был похож на человека, у которого что-то выскользнуло из рук и который теперь хватал пустой воздух. Он взглянул на нас, и у меня возникло желание протянуть руку и успокоить его, сказать, что он в безопасности. Но тут Ричард опомнился и улыбнулся, словно у него действительно был повод для радости.

Он увидел толпу у ворот и затянул веселую песенку о смуглой девушке и ее возлюбленном, а люди ухмылялись и притопывали. Затем моя мать велела нам идти к столу и усадила мистера Ричарда по правую руку от себя.

⁴⁸ Бретань – историческая область Франции, одноименный полуостров на ее северо-западе.

Он ел так, будто прежде питался шиповником и боярышником, а воду пил из ручья. Когда мясо унесли, он торжественно открыл сумку и выложил на стол разные вещи. Чего там только не было: и застёжки, и броши, и ожерелья из бус, а еще множество листов пергамента, сшитых вместе, хотя ни один из них не совпадал по размеру с его книгой. И тогда, увидев в моих глазах живой интерес, он вложил мне в руки драгоценный том и велел рассмотреть рисунки. Это и правда была изумительная работа: заглавные буквы обрамляли ярко-голубое небо и золотые одеяния, а посреди текста имелись широкие цветные рисунки, изображавшие процессию принцев и принцесс, и города с церквями на крутых скалах, и синее море, разбивающееся под ними. Они были подобны маленьким зеркалам, отражавшим те образы, которые я видела проплывающими в воздухе, но здесь они были увековечены.

— *А вы когда-нибудь видели подобные зрелища?* — спросила я его.

— *Они открываются тем, кто ищет,* — загадочно ответил он, забрав у меня рукопись, перевязав обложку и спрятав за пазухой.

Снаружи рукопись была пожелтевшей и потрепанной, словно миссал любого благочестивого священника, но внутри блистательные дамы и рыцари двигались под непрерывающуюся мелодию прекрасных слов. В своем плаще он прятал целый волшебный мир.

Мы предложили ему ночлег и не только, если он останется и споет еще. Однако он прислушивался к нашим мольбам не больше, чем сова в зарослях плюща, и он лишь сказал: «*Я должен идти своей дорогой*». К рассвету он покинул дом, а нам показалось, будто необычная птица на мгновение села на нашу крышу, а потом полетела дальше.

(6)

Летнее солнцестояние.

Наступает неделя, а может, всего один день, когда год достигает своей наивысшей точки; какое-то время он будет балансировать в этом положении, словно в величественном созерцании, а затем медленно спустится, как монарх со своего трона, и сам окутается тьмой.

Но цифры – скользкая, ненадежная вещь!

В данный момент у меня такое чувство, будто я взмыла в безмятежную высь, на могучую спину мира. Мир в стране и процветание нашего маленького уголка – ведь мой отец и братья сейчас дома – вот что составляет мое счастье; взгляд беспрепятственно скользит с гладкого небесного купола на крышу нашего дома, и они словно единое целое.

Таким образом, было решено, что летнее солнцестояние – самое подходящее время для нашего паломничества к святыню Пресвятой Богородицы в Уолсингеме⁴⁹, тем более что

⁴⁹ Деревня в северном Норфолке.

в этом году мне предстоит за многое ее поблагодарить и помолиться о большем. Моя свадьба с сэром Эмиасом назначена на двадцатый день декабря, и мы заняты приготовлениями. Поэтому вчера я отправилась в путь на рассвете и пошла пешком, дабы показать, что я смиренно иду к святыне. А долгий путь – это, несомненно, лучшая подготовка к молитве.

Пусть душа будет бодрой, как вскормленная пшеницей лошадь; пускай она встает на дыбы и мчится, пускай швыряет вас из стороны в сторону. Ничто не удержит ее на дороге, и она понесется по росистым лугам, сминая копытами тысячи нежных цветов.

Но день становится жарче, и вы можете вывести ее, все еще пружинящим шагом, назад на прямую дорогу, и она будет нести вас легко и быстро, пока полуденное солнце не вынудит сделать привал. По правде говоря, и без преувеличений, разум легко выбирается из лабиринта застоявшегося духа, подгоняемый парой бодрых ног, и самой душе становится легче от всего этого. Таким образом, за три часа, проведенные в дороге на Уолсингем, меня посетило столько мыслей, что их хватило бы на целую неделю, проведенную взаперти.

И мой ум, который поначалу был резв и весел, словно ребенок в игре, постепенно успокоился, хотя радость в нем сохранялась. Я думала о важных вещах: о старости, бедности, болезни и смерти, – понимая, что мне непременно придется

с ними столкнуться, и о тех радостях и печалях, которые попеременно преследовали меня по жизни. Мелочи жизни больше не радовали и не дразнили меня, как прежде. И хотя мне от этого было нелегко, я чувствовала также, что пришло время, когда такие чувства подлинны, и пока я шла, мне казалось, что можно погружаться в эти чувства точно так же, как я погрузилась в иллюстрированную рукопись мастера Ричарда.

Я представляла эти чувства как хрустальные сферы, заключающие в себе шар из воздуха и земли, а внутри них трудятся крошечные мужчины и женщины, словно под куполом самого неба.

Уолсингем, как всем известно, – это деревушка на вершине холма. Но, идя по зеленой равнине, вы еще издалека видите возвышенность, которая поднимается над вами, пока вы не доберетесь до деревушки. Полуденное солнце освещало нежную зелень и голубизну болотистой местности, и казалось, что идешь по мягкой плодородной земле, сияющей и будто нарисованной, к суровой вершине, где свет падает на что-то бледное, как кость, и устремленное ввысь.

Наконец я достигла вершины холма, присоединившись к потоку паломников, и мы взялись за руки, дабы показать, что мы пришли смиренно, как обычные люди, и преодолели остаток пути вместе, распевая «Miserere» [текст пятидесятого псалма].

Там были мужчины и женщины, хромые и слепые; одни

в лохмотьях, другие верхом; признаюсь, мой взгляд с любопытством скользил по их лицам, и на мгновение я с отчаянием подумала, что это ведь ужасно, что плоть и [болота?] разделяют нас. Все они могли бы рассказать забавные странные истории.

Но тут бледный крест с Образом бросился мне в глаза, и я с благоговением сосредоточила на нем все свое внимание.

Не стану притворяться и скажу, что лик Богородицы показался мне суровым: бури и зной выбелили его, придали ему жесткий вид, а попытка поклониться Ей, как это делали другие вокруг меня, заполнила мой ум образом, столь огромным и ослепительным, что для иных мыслей там просто не осталось места. На мгновение я поклонилась Ей так, как ни одному мужчине или женщине, и губами припала к Ее одеянию из шершавого камня. Белый свет и жар обрушились на мою непокрытую голову, а когда экстаз прошел, земля под холмом внезапно развернулась передо мной, словно зная.

(7)

Осень. Наступила осень, моя свадьба не за горами. Сэр Эмиас – настоящий джентльмен; он относится ко мне с большой учтивостью и надеется сделать меня счастливой. Ни один поэт не смог бы воспеть наши ухаживания, и, признаться, с тех пор как я стала читать о принцессах, меня иногда огорчает, что моя собственная судьба так мало похожа на их

судьбу. Но ведь они не жили в Норфолке во времена гражданских войн, а мать говорит, что правда всегда лучше вымысла.

Чтобы подготовить меня к обязанностям замужней женщины, она позволила мне помогать ей в управлении домом и землями, и я начинаю понимать, как много времени будет уходить на мысли, не имеющие ничего общего с мужчинами или счастьем. Овцы, лес, урожай, люди – все это нуждается в моей заботе и внимании, когда мой господин будет в отъезде, то есть довольно часто, а если времена останутся такими же беспокойными, как сейчас, то мне придется выступать также в роли главного наместника, распоряжаясь его силами против врага. А еще я ведь буду выполнять свою женскую работу по дому. Воистину, как говорит матушка, времени на принцев и принцесс не останется! И она продолжила излагать мне то, что называет своей теорией владения: как в наше время человек становится правителем маленького острова, расположенного посреди бурных вод, как он должен его возделывать, проводить дороги и надежно ограждать от приливов, и однажды, возможно, воды утихнут, а этот участок земли будет готов к тому, чтобы стать частью нового мира. Такова ее мечта о будущем Англии, и всю жизнь мать стремилась привести свою провинцию в порядок так, чтобы она стала одним твердым клочком земли, по которому можно будет ходить без опаски. Она внушает мне надежду, что я доживу до того времени, когда вся Англия обретет прочность, и, если это

случится, я еще поблагодарю свою мать и других женщин, подобных ей.

И хотя я глубоко чту мать и уважаю ее слова, мне, признаться, трудно принять их мудрость без тяжкого вздоха. Кажется, она не мечтает ни о чем большем, нежели твердая земля, поднимающаяся из тумана, которым она сейчас окутана, а самая прекрасная перспектива будущего в ее воображении – это, видимо, широкая дорога, проходящая через всю страну; дорога, на которой она видит длинные вереницы непринужденно едущих всадников; бодро странствующих и безоружных паломников; и повозки, которые гружеными едут к побережью и возвращаются не менее груженными товарами с кораблей. Еще она, наверное, мечтает об огромных, издалека видных поместьях с засыпанными рвами и снесенными башнями, с открытыми для любого прохожего воротами и столом, за которым гость или слуга может разделить трапезу с хозяином. И будут бескрайние поля, усеянные пшеницей, и пастбища, полные скота, и каменные домики для бедняков. Записывая все это, я вижу, что она желает добра и нам тоже следует этого желать.

Но в то же время, живо представляя себе эту картину, я не могу назвать ее приятной для глаз, и мне, полагаю, будет трудно дышать на этих гладких светлых дорогах.

И все же я не могу сказать, каким именно мне видится будущее, хотя жажду этого и каким-то тайным образом мечтаю его увидеть. Ибо часто, все чаще и чаще с течением време-

ни, я обнаруживаю, что внезапно замираю во время прогулки, будто меня останавливает странный новый облик земли, которую я так хорошо знаю. В нем есть намек на что-то, но оно исчезает прежде, чем я успеваю понять, на что именно. Будто на хорошо знакомом лице проскальзывает необычная улыбка, пугающая, но в то же время манящая.

Последние страницы

Вчера ко мне зашел отец, когда я сидела за столом, за которым пишу эти строки. Он немало гордится моим умением читать и писать, чему я училась в основном сидя у него на коленях.

Но когда он спросил, что именно я пишу, я растерялась и пробормотала, что это «Дневник», и прикрыла страницы руками.

— Ах, — воскликнул он, — *если бы только мой отец вел дневник! Но он, бедняга, не мог написать даже своего имени. Джон, Пирс и Стивен лежат в церкви вон там, и от них не осталось ни строчки, и мы не знаем, хорошими они были людьми или плохими, — так он говорил, пока я опять не побледнела. — И то же самое скажет обо мне мой внук, — продолжал он. — Если бы только я мог сам написать строчку: “Я — Джайлс Мартин; мужчина среднего роста, темно-волосый, со смуглой кожей, ореховыми глазами и усами; я умею читать и писать, но с трудом. Я езжу в Лондон на*

лучшей гнедой кобыле, какую только можно найти в графстве". Что еще мне сказать? И захотят ли они это слышать? И кто будут эти они? – рассмеялся он, привыкший заканчивать свою речь смешком, даже если начинал говорить серьезно.

– Ты же хочешь узнать о своих предках, – сказала я, – так почему бы им не хотеть узнать о тебе?

– Мои предки были такими же, как я, – сказал он, – все они жили здесь; пахали ту же землю, что и я; женились на деревенских женищинах. Войди они сейчас в дверь, я бы тут же узнал их и ничуть не удивился. Но потомки... – Он развел руками. – Кто знает, что там, в будущем? Нас может смыть с лица земли, Джоан.

– О нет, – воскликнула я, – я уверена, что мы будем жить здесь всегда.

Это втайне обрадовало отца, ибо нет человека, который больше бы заботился о своей земле и своем имени, хотя он всегда будет считать, что, если бы мы были более благородных кровей, нам не пришлось бы так долго жить без перемен.

– Что ж, Джоан, тогда ты должна сохранить свои записи, – сказал он, – или, вернее, я должен сохранить их за тебя. Ты ведь покинешь нас; правда, уедешь недалеко, – быстро добавил он, – а имена мало что значат. И все же я бы хотел иметь что-нибудь на память о тебе, когда ты уедешь, и у наших потомков будет повод уважать по крайней мере одного из нас, – он с огромным восхищением смотрел на

мой аккуратный почерк. — *А теперь, девочка моя, пойдем со мной в церковь: хочу проследить за резьбой на надгробии моего отца.*

Идя с отцом, я думала о его словах и о множестве листов, лежащих в моем дубовом столе. С тех пор как я с такой гордостью взялась за перо, опять наступила зима. Я подумала о том, что в Норфолке мало женщин, которые занимались бы тем же, и, если бы не моя гордость, думаю, я бы давно бросила это занятие. Ибо, воистину, в бледной череде моих дней нет ничего достойного рассказа, а писать надоедает. И я думала, вдыхая резкий воздух зимнего утра, что если когда-нибудь и напишу еще, то это будет не о Норфолке и не о себе, а о рыцарях и дамах, о приключениях в чужих краях. Даже облака, несущиеся по небу с запада, принимают облик капитанов и солдат, и я не могу удержаться от того, чтобы дорисовывать им шлемы и мечи, а также прекрасные лица и высокие головные уборы, глядя на эти волны цветного тумана.

Но, как сказала бы моя мать, лучшие истории — это те, что рассказывают у камина, и я буду довольна, если закончу свои дни одной из тех старушек, которые зимними вечерами могут увлечь домочадцев рассказами о странных зрелищах, которые видели, и о подвигах, которые по молодости совершали. Я всегда считала, что такие истории отчасти приходят из ниоткуда, иначе почему они волнуют нас больше, чем то, что можно увидеть воочию? Уверена, что ни одна написан-

ная книга с ними не сравнится.

Такой женщиной была дама Элсбет Аск. Став слишком старой, чтобы вязать и вышивать, она почти не вставала из своего кресла и целыми днями сидела, сцепив руки, у камина, и стоило только потянуть ее за рукав, как в глазах старушки вспыхивал огонек, и она рассказывала истории о битвах и королях, о великих вельможах и бедняках, пока воздух, казалось, не начинал двигаться и шептать. А еще она умела петь баллады, которые сама же и сочиняла, сидя в кресле. Мужчины и женщины, старые и молодые, проделывали огромный путь, чтобы послушать ее, ибо она не умела ни писать, ни читать. А еще они верили, что она может предсказывать будущее.

Итак, мы пришли в церковь, где похоронены мои предки. Знаменитый резчик по камню, Ральф из Нориджа, недавно сделал надгробие для моего деда, и теперь оно лежит почти готовое над его телом. Когда мы вошли, в полумраке церкви уже горели свечи. Мы встали на колени и прошептали молитвы за упокой его души, а потом отец удалился, чтобы поговорить с сэром Джоном, оставив меня за моим любимым занятием – читать имена и вглядываться в лица моих умерших родственников и предков. В детстве эти белые каменные лица пугали меня, особенно когда я видела, что кто-то из них носил мое имя, но теперь, когда я знаю, что фигуры никогда не шелохнутся за моей спиной и всегда держат руки скрещенными, мне их жаль и хочется совершить какой-ни-

будь поступок, который бы их порадовал. Это должно быть что-то тайное и спонтанное – поцелуй или прикосновение, которые мы дарим живым людям.

[Разговор на горе Пенделикон]

Данный рассказ не имеет в машинописи ни названия, ни даты. Единственная сохранившаяся рукописная страница похожа на страницу неопубликованного эссе “Вид Греции”, датированную 27 июня 1906 года. В сентябре 1906 года Вирджиния вместе с Ванессой, Тоби⁵⁰ и Адрианом⁵¹ отправилась в Грецию. Во время этой поездки она вела дневник (см. ВВ-Д-0), в котором описала их восхождение на Пенделикон и встречу с двумя монахами. Точно неизвестно, когда Вирджиния написала рассказ. Вернувшись в Лондон в ноябре, она обнаружила, что Тоби, приехавший раньше остальных, слег с брюшным тифом, от которого он умер 20 ноября. Внешний вид страницы и фраза о спуске с горы “несколько недель назад” позволяют предположить, что рассказ был написан вскоре после возвращения из Греции, а напечатан, вероятно, позже.

Так случилось, что несколько недель назад группа английских туристов спускалась по склонам горы Пенделикон. Они бы первыми потребовали исправить это предложение, указав

⁵⁰ Джулиан Тоби Стивен (1880–1906) – брат Ванессы, Вирджинии и Адриана.

⁵¹ Адриан Лесли Стивен (1883–1948) – младший из детей Стивен, психоаналитик.

на неточность и несправедливость того, как их называли. Ведь назвать встреченного за границей человека туристом – значит описать не только его положение, но и душу, а их души, сказали бы они – вечно эти ослы спотыкаются о камни, – не ограничить подобными рамками. Немцы – туристы, французы – туристы, но англичане – греки. Вот основная мысль их риторики, и нам придется поверить им на слово, ибо это здравая мысль.

На склоне Пенделикона, как мы знаем из «Бедекера»⁵², все еще есть благородный шрам, который ей нанесли какие-то греческие каменщики, получившие в награду за свой труд улыбку и, возможно, проклятье от Фидия⁵³. Поэтому, если вы хотите выказать уважение, вам стоит обдумать несколько вещей и ничего не упустить. Гору нужно воспринимать не только как силуэт и важнейший элемент вида из греческих окон – ради нее даже Платон⁵⁴ по утрам в ясную погоду отрывал взгляд от страниц, – но и как мастерскую, как место, где бесчисленные рабы коротали свою тяжелую жизнь. И было в этом что-то полезное для группы людей, когда в полдень они спешили и с трудом пробирались сре-

⁵² Путеводители, издаваемые немецкой фирмой Карла Бедекера (1801–1859) с 1830 года.

⁵³ Фидий (около 490–430 до н.э.) – древнегреческий скульптор и архитектор. На Пенделиконе находились каменоломни, откуда брали мрамор для Парфенона, за строительством которого наблюдал Фидий.

⁵⁴ Платон (около 427–347 до н.э.) – выдающийся афинский философ Древней Греции.

ди мраморных глыб, которые по какой-то причине древние греки оставили или сбросили с телег, спускаясь в Афины. Полезно было вспомнить, что в Греции легко забыть: статуи сделаны из мрамора, – и воочию увидеть настоящий мрамор, твердый, острый, покуда непокоренный резцу скульптора.

«Таковы были греки!» Если бы вы слышали этот возглас, то наверняка бы подумали, что воскликнувший празднует какое-то личное достижение и сам является великим покорителем камня. Будто он собственноручно высек из него Гермеса или Аполлона. Но тут ослы, чьи предки содержались в стойлах в гроте, прервали размышления туристов, и всадники, а их было шестеро, строем степенно спустились по склону. Они видели Марафон и Саламин, и до Афин добрался бы их взгляд, если бы город не окутали облака; так или иначе, они ощущали, что их всецело окружает нечто величественное. И в доказательство своего истинного вдохновения они не только поделились вином с группой грязных греческих крестьянских мальчишек, но и снизошли до того, что обратились к ним на их родном языке, на котором говорил бы Платон, если бы учил греческий в Харроу. Точно они выразились или нет, судить не нам, но тот факт, что греческие слова, произнесенные на греческой земле, были неправильно поняты греками, одним ударом унизил все население Греции: и мужчин, и женщин, и детей. В этот судьбоносный момент лишь одно слово сорвалось с губ англичан – слово,

которое мог произнести Софокл⁵⁵ и одобрил бы Платон, – «варвары». Обличить их этим словом означало не только исполнить свой долг перед умершими, но и провозгласить себя законными наследниками, – еще несколько минут мраморные каменоломни Пенделикона разносили эту весть всем, кто «спал» под скалами или бродил по местным пещерам. Притворщики были разоблачены; раса смуглых людей, болтливых и легкомысленных, так долго пародировавших речь и присвоивших себе имена великих греков, уличена и осуждена. Повинуясь окрику, погонщик обрушил удары на круп своего подопечного – белый мул шел во главе колонны, – с охотой человека, который каждым ударом по чужой спине спасает собственную. Когда англичане закричали, он решил ускориться. Сам того не ведая, погонщик дал происходящему самый меткий комментарий: мгновение обрело свое слово; ни один поэт не сказал бы больше, а прозаик запросто мог сказать меньше. И вот с этим единственным выкриком англичане сорвались с места и понеслись вниз по склону горы так беспечно и весело, словно вся эта земля вокруг принадлежала только им.

Однако спуск с Пенделикона прерывается зеленым плато, где природа словно замирает на мгновение, прежде чем снова устремиться вниз по склону. Там растут огромные платаны, доброжелательно раскинувшие во все стороны свои ветви, и маленькие милые кустики, будто нарочно посаженные

⁵⁵ Софокл (около 496–406 до н.э.) – афинский драматург, трагик.

в строгом порядке, и журчит ручей, который словно воспе-
вает красоту окружающей природы, а также прелести вина
и песен. В журчании воды по камням можно услышать сету-
ющий голос Феокрита⁵⁶ – собственно, некоторые англичане
и правда слышали его, хотя тексты поэта остались пылиться
на полках у них дома. Как бы то ни было, природа на пла-
то и голоса духов классиков побудили шестерых друзей спе-
шиться и отдохнуть. Их провожатые удалились, но недале-
ко, а так, что англичане все еще могли видеть их варварские
выходки: греки покачивались и пели, дергали друг друга за
рукава и болтали о винограде, пурпурные гроздья которого
нынче зрели на полях. Если мы что-то и знаем о греках, так
это то, что они народ спокойный, примечательный своими
жестами и речью, и когда они присели у ручья под платаном,
то расположились так, как изобразил бы их художник-кера-
мист: старик подпер подбородок посохом и склонился над
юношей, который лежал на траве у его ног. А позади молча
шли степенные девушки в белых одеяниях и с кувшинами на
плечах. Ни один европейский ученый не смог бы переина-
чить эту картину или убедить наших друзей, что кто-то име-
ет больше прав на создание подобных образов, чем они сами.

Англичане растянулись в тени, и не было ни их вины, ни
вины древних в том, что их речь хотя бы по форме не дотя-
гивала до благородного образца. Но поскольку диалоги пи-
сать еще труднее, чем говорить, и едва ли написанные диа-

⁵⁶ Феокрит (около 300–260 до н.э.) – древнегреческий поэт.

логи были хоть раз произнесены, а произнесенные – записаны, мы зафиксируем лишь те фрагменты, которые касаются нашей истории. Однако стоит сказать, что это была прекраснейшая беседа.

Говорили о разных вещах: о птицах и лисах; о том, полезны ли сосновые смолы в вине; о том, как древние делали сыр; о положении женщин в греческом государстве – сколько же было красноречия! – о метрике Софокла; о седлании ослов, – и наконец, то замирая, то взлетая, подобно орлу в воздухе, разговор коснулся старого спора о современных греках и их положении в этом мире. Одни, оптимисты по натуре, утверждали, что им место в настоящем; другие были менее опрометчивы, но с надеждой смотрели в будущее; третьи, обладавшие богатым воображением, взывали к прошлому; и лишь одному из них предстояло бросить вызов всем этим предрассудкам и, яростно ударяя по пню усохшей оливы, сотрясая воздух словами и напрягая мышцы, показать, какими были греки и какими они больше не являются.

«Этот народ, – говорил он, пока в небе светило солнце, а над склоном парил беркут, – возник внезапно, словно расцвет, и умер так, как здесь, в Греции, умирает день, – полностью. Игнорируя все, что следует игнорировать: благотворительность, религию, домашний быт, обучение и науку, – они сосредоточили свои умы на красоте и добре и нашли их достаточными не только для этого мира, но и для бесконечного множества грядущих миров. “Там, где у греков бы-

ла скромность...»», – однако ему потребовалась книга, чтобы закончить цитату, ибо никто нынче не знал ее наизусть, и он начал искать своего Пикока⁵⁷, но тот остался вместе с несколькими носками и жестяной банкой табака – потерять ее было обиднее всего, – где-то в руинах Олимпии, и он был вынужден продолжить свою речь тоном чуть ниже, но с не меньшей серьезностью, чем начал. Он говорил о том, как греки, отсекая лишнее, являли на свет идеальную статую или совершенную строфу, а мы, наоборот, облакаем все в лохмотья чувств и воображения, затемняем контуры и уничтожаем суть. *«Взгляните, – восклицал он, – на Аполлона в Олимпии⁵⁸, на голову юноши в Афинах, прочтите “Антигону”⁵⁹, побродите среди развалин Парфенона и спросите себя, есть сбоку или у подножия место для каких-нибудь более поздних проявлений красоты. Не правда ли, что, как подсказывает по ночам или на рассвете воображение, перед мысленным взором греков проплывало множество форм красоты, и все их они облекли в слова и камни, а нам остается лишь*

⁵⁷ Томас Лав Пикок (1785–1866) – английский писатель-сатирик и поэт. Имеется в виду цитата из его шестого романа (1831) «Замок Кротчет»: *«Но там, где у греков была скромность, у нас ее нет; там, где у них был патриотизм, у нас его нет; там, где у них было все, что возвышает, восхищает или украшает человечество, у нас ничего нет, вообще ничего»*.

⁵⁸ Аполлон Олимпийский был частью скульптурной группы, найденной на западном фронтоне храма Зевса в Олимпии и датируемой около 460 г. до н.э. В настоящее время статуя находится в Археологическом музее Олимпии.

⁵⁹ Трагедия Софокла.

молча преклоняться или, если уж очень хочется, сотрясать воздух?»

Ему ответил один из путников, репутация которого уже была запятнана опасной ересью: всего год назад он воспользовался недавно полученным правом голоса и заявил, что пора прекратить, как он выразился, «*хлестать глупых мальчишек за плохое поведение*» греческим языком⁶⁰. И все же он был ученым. Его основной аргумент – но нам следует остерегаться диалога! – был примерно таким, если не считать некоторых перебивок, которых не передаст никакая перестановка букв.

«Когда вы говорите о греках, – сказал он, – вы звучите как человек сентиментальный и необразованный, и вам явно нравится о них говорить. Неудивительно, что вы их любите, ведь они олицетворяют собой, по вашим же собственным словам, все благородное в искусстве и все подлинное в философии, и, как вы бы могли добавить, все лучшее в вас самих. Конечно, такого народа, как они, никогда не было, а причина, по которой вы, получивший, если не забыли, тройку

⁶⁰ В 1905 году Комитет по учебе и экзаменам Кембриджа предложил отменить греческий язык в качестве обязательного предмета для всех студентов. В результате двухдневного голосования значительное большинство (1500 против 1000) оставило греческий язык обязательным. По-видимому, прототипами героев рассказа послужили братья Вирджинии: Тоби Стивен, чья степень магистра давала ему право голосовать против греческого языка, и Адриан, который отставал в учебе и с трудом получил степень бакалавра.

по трайпосу⁶¹, называете их греками, заключается в том, что вам кажется кощунственным называть их итальянцами или французами, или немцами, или вообще любым существующим народом, который умеет строить флот крупнее нашего и говорить на понятном нам языке. Нет, давайте дадим ему имя, которое можно произнести по-разному, которое можно дать разным народам, которое изучат этимологи, которое оспорят археологи, которое будет подразумевать все, чего мы не знаем, и, как в вашем случае, все, о чем мы мечтаем и чего желаем. В самом деле, нет никакой причины, почему вы должны читать их труды, ведь разве не вы их написали? В тех таинственных, загадочных страницах заключено все, что вы считаете прекрасным в искусстве и подлинным в философии. Ибо есть, знаете ли, некрещеная душа красоты, которая возвышается над словами Мильтона⁶², как она возвышается вдали над Марафонской бухтой; возможно, она ускользнет от нас и угаснет, ибо мы не доверяем фантомам. Но даже сейчас вы, я не сомневаюсь, заняты тем, что нарекаете ее греческим именем и облачаете в греческую форму. Но разве это не то “нечто греческое”, чего вы не смогли вычитать; разве это не часть – лучшая часть – Софокла, Платона и всех тех старых книг, которые хранятся у вас дома? Таким образом, читая по-

⁶¹ Традиционный выпускной экзамен в Кембридже.

⁶² Джон Милтон (1608–1674) – английский поэт, политический деятель и мыслитель, автор политических памфлетов и религиозных трактатов.

гречески на склонах Пенделикона, вы отрицаете, что дети Греции существуют и поныне. Но для нас, ученых...»

«О, как невежественно и нелогично», – прервал его собеседник, и так бы и продолжалось до конца абзаца, если бы не прозвучал другой ответ, который в тот момент показался убедительным, хотя он исходил не с Небес, а лишь со стороны склона. Кусты зашелестели и согнулись, а из-за них показался огромный смуглый силуэт; его лицо скрывала большая вязанка хвороста. Сперва возникла надежда, что это прекрасный экземпляр европейского медведя, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это всего-навсего монах, исполняющий скромные обязанности в монастыре неподалеку. Он не замечал шестерых англичан, пока не подошел вплотную, и тогда их присутствие заставило его выпрямиться и вглядеться, словно силой вырвав его из благостных размышлений. Они увидели высокого и прекрасно сложенного мужчину с носом и лбом греческой статуи. Правда, он носил бороду и длинные волосы, и были все основания счесть его человеком грязным и безграмотным. Но пока монах стоял, замерев, у англичан, увидевших его, промелькнула фантастическая – жалкая – надежда, что это одна из тех первозданных фигур, которые, окунутые в грубую землю, устояли перед временем и напоминают о заре человечества, о первозданном человеке; быть может, такой Человек существует и поныне.

Но английскому уму уже не под силу – возможно, в России

этот дар еще можно отыскать – разглядеть шерсть на гладких ушах и вообразить раздвоенные копыта вместо десяти обычных пальцев. У них есть дар видеть нечто иное и, быть может – кто знает? – нечто более прекрасное. А вот шестеро англичан, растянувшихся под платаном, прежде всего почувствовали необходимость подобрать ноги, сесть прямо и посмотреть в глаза смуглого монаха, как обмениваются взглядами обычные люди. Сила взгляда, приковавшего их, была такова, что она не просто ощущалась, пока среди оливковых рощ дул ветерок, а подкреплялась другой силой, которая животворит все вокруг, включая деревья. И уж точно – трактуйте как хотите, говорите как о факте или шепчите как о чуде, называйте и тем и другим, – огонек в глазах монаха заставлял шелестеть деревья и дуть ветер. И тысячи маленьких существ копошились в траве, а земля на многие мили вокруг обретала цельность. Атмосфера не начиналась и не заканчивалась этим днем и этим горизонтом – она простиралась, будто прозрачная зеленая река, во все стороны, а мир плыл в ее русле вечности. Таков был огонек в карих глазах монаха, и думать о смерти и тлене, о разрушении под его взглядом было все равно что бросить в огонь лист папиросной бумаги. Ибо он пронзал, подобно стреле, насквозь и тянулся золотой цепью сквозь все века и расы, а силуэты мужчин и женщин, небо и деревья расступались по обе стороны от его потока, образуя сплошную и непрерывную аллею от начала времен до его конца.

И в тот момент англичане не смогли бы сказать, в какой именно точке они находятся, ибо аллея была гладкой, как золотое кольцо. Но греки, то есть Платон, Софокл и другие, находились рядом с ними, так же близко, как друзья или возлюбленные, и дышали тем же воздухом, что целует щеку и шевелит виноградную лозу, вот только они, подобно молодым, по-прежнему смотрели вперед, а мысли их были устремлены в будущее. А пламя, подобное тому, что горело в глазах монаха, пускай и блуждало все это время по неизведанным склонам горы, освещая бесплодные скалы и чахлые деревца, когда-то было зажжено у первобытного очага, и оно, несомненно, продолжит гореть в глазах монаха или крестьянина на протяжении стольких веков, что и не сосчитать.

Но смуглый монах произнес лишь *καλησπέρα*, то есть «*добрый вечер*», и забавно, что он обратился именно к тому джентльмену, который первым провозгласил обреченность его расы. И, отвечая на это приветствие, вставая и вынимая трубку изо рта, он был убежден, что говорит с ним как грек с греком, и если Кембридж не признавал их родства, то склоны Пенделикона и оливковые рощи Мендели подтверждали его.

Но сумерки, внезапно обрывающие греческий день, опустились, как нож, и, пока англичане спускались по дороге между виноградниками, на афинских улицах зажигались огни, а разговор шел об ужине и ночлеге.

Мемуары о романистке

Вирджиния планировала сделать “Мемуары о романистке”, написанные в 1909 году, первым рассказом из серии вымышленных портретов. Она отправила его в журнал “Cornhill Magazine”, однако редактор Реджинальд Смит⁶³ отклонил текст (см. ВВ-II-I, № 510 и КБ-I). Рассказ сохранился в виде машинописи с рукописными правками.

Когда в октябре 1884 года умерла мисс Уиллетт, все почувствовали, по словам ее биографа, что «мир имеет право больше узнать об этой замечательной, хотя и замкнутой женщине». Из выбранных прилагательных ясно, что сама мисс Уиллетт не пожелала бы ничего подобного, если бы ее не убедили, что мир от этого только выиграет. Вероятно, именно мисс Линсетт привела подобный довод незадолго до ее смерти, ведь двухтомник биографии и писем, выпущенный этой дамой, был издан с одобрения семьи. Если поразмыслить над цитатой, можно составить целый список интересных вопросов. Какое право имеет мир знать о мужчинах и женщинах? Что может поведать ему биограф? И, наконец, что мир выиграет от этого? Возражение против по-

⁶³ Реджинальд Джон Смит (1857–1916) – редактор журнала «Cornhill Magazine» с 1897 года.

становки подобных вопросов заключается не только в том, что они займут много места, но и приведут к неприятным расплывчатым размышлениям. В нашем представлении мир – это круглый шар, окрашенный полями и лесами в зеленый цвет, а морем в голубой, и с шипами там, где есть горы. Когда нас просят представить себе, как именно мисс Уиллетт или кто-то еще повлияли на этот объект, данная просьба вызывает уважение, но не энтузиазм. И все же, если начинать с начала и задаваться вопросом *«зачем нужны биографии?»* – это пустая трата времени, то небезынтересно спросить, зачем написана биография мисс Уиллетт, и таким образом ответить на вопрос о том, кем она была.

Мисс Линсетт, хотя и прикрыла свои мотивы громкими фразами, действовала из какого-то более сильного и глубокого побуждения. Когда мисс Уиллетт умерла *«после четырнадцати лет непрерывной дружбы»*, мисс Линсетт почувствовала (позволим себе такое предположение) тревогу. Ей казалось, что, если она не заговорит немедленно, что-то будет утрачено. Но ее, несомненно, одолевали и другие мысли – о том, как ей нравится писать; какими значительными и нереальными становятся люди, попав на страницы книги, так что само знакомство с ними делает человеку честь; можно ведь воздать должное и собственной фигуре, – однако первое чувство было самым искренним. Когда по дороге с похорон она выглянула из окна экипажа, ей сначала показалось странным, а потом и неприличным, что кто-то из прохожих

насвистывает мелодию и что все они равнодушны. Затем, естественно, она получила письма от «*общих друзей*»; редактор одной газеты попросил ее написать об усопшей очерк в тысячу слов; наконец, она предложила мистеру Уильяму Уиллетту, чтобы кто-то написал биографию его сестры. Он был солиситором⁶⁴, не имевшим литературного опыта, но не воспротивился самой идее, лишь бы автор «*не переступал черты*»; в общем, мисс Линсетт написала книгу, которую, если повезет, и теперь можно купить на Чаринг-Кросс-роуд.

Судя по всему, мир до сих пор не воспользовался своим правом больше узнать о мисс Уиллетт. Книги затерялись между «Красотами природы» Штурма⁶⁵ и «Руководством ветеринара» на передней полке, где они потрескались от тепла газовой лампы и запылились, а люди могут стоять и листать их, пока позволяет продавец. Почти бессознательно начинаешь ассоциировать мисс Уиллетт с ее литературными останками и немного снисходительно относиться к этим потрепанным, запачканным томам. Приходится напоминать себе, что мисс Уиллетт – реальный человек и полезнее узнать, какой она была, нежели говорить (пускай это и правда), что сейчас она слегка нелепа.

Кем же тогда была мисс Уиллетт? Скорее всего, нынеш-

⁶⁴ Адвокаты в Великобритании, выступающие в судах низшей инстанции.

⁶⁵ Кристоф Кристиан Штурм (1740–1786) – немецкий проповедник и писатель. Его книга «Красоты природы, или Философские и благочестивые размышления о творениях природы и временах года» была опубликована в Англии в 1800 году.

нему поколению ее имя почти неизвестно; если кто-то и читал ее книги, то по чистой случайности. Они стоят рядом с трехтомными романами шестидесятых и семидесятых годов на самых верхних полках крохотных приморских библиотек, поэтому приходится брать стремянку, а заодно и тряпку, чтобы смахнуть пыль.

Мисс Уиллетт родилась в 1823 году и была дочерью солиситора из Уэльса. Часть года их семья жила недалеко от Тенби, где находилась контора отца, а ее *«выход в свет»* состоялся на балу, устроенном офицерами местной масонской гильдии в ратуше в Пембруке. Хотя первым семнадцати годам жизни мисс Линсетт посвятила целых 36 страниц, о самих этих годах она почти ничего не говорит. Правда, она рассказывает, что основал династию Уиллеттов купец XVI века, который писал свою фамилию с буквы «В», и что у Фрэнсис Энн, писательницы, было два дяди, один из которых изобрел новый способ мытья овец, а другой *«надолго запомнился прихожанам. Говорят, даже бедняки носили траур в память о “добром пасторе”*». Но это всего лишь уловки биографа – способ тянуть время на первых скучных страницах, когда герой не делает и не говорит ничего *«характерного»*. По какой-то причине нам мало что сообщают о миссис Уиллетт, дочери мистера Джозайи Бонда, уважаемого торговца льняными товарами, который чуть позже, судя по всему, купил *«усадыбу»*. Она умерла, когда ее единственной дочери было всего шестнадцать лет; еще у нее было двое сыновей:

Фредерик, умерший раньше сестры, и Уильям – адвокат, переживший ее. Возможно, стоило упомянуть эти факты, ибо, хотя они уродливы и никому не запомнятся, они помогают нам хоть как-то представить себе далекую молодость нашей героини. Вот что получается, когда мисс Линсетт вынуждена говорить о самой мисс Уиллетт, а не о ее дядях. *«Таким образом, в шестнадцать лет Фрэнсис осталась без материнской заботы. Можно представить себе, как одинокая девушка – ведь даже общество любящего отца и братьев было не в силах заполнить образовавшуюся пустоту [хотя мы ничего не знаем о миссис Уиллетт] – искала утешения в уединении и прогулках по вересковым пустошам и дюнам, где сохранились руины замков былых эпох»* и т.д. Вклад мистера Уильяма Уиллетта в биографию его сестры, несомненно, более весомый. *«Моя сестра была застенчивой и неловкой девушкой, склонной “витать в облаках”». В семье постоянно шутили, что однажды она зашла в свинарник, приняв его за прачечную, и не замечала оплошности, пока Грюнтер (старая черная свиноматка) не сожрала книгу из ее рук. Что касается склонности к учебе, то я должен сказать, что она всегда была весьма заметной... Хочу упомянуть тот факт, что за любое непослушание самым эффективным наказанием являлась конфискация свечи, при свете которой она имела привычку читать в постели. Маленьким мальчиком я хорошо помню силуэт сестры, когда она вставала с кровати с книгой в руках, чтобы воспользоваться светом, про-*

никавшим через дверной проем из другой комнаты, где наша няня занималась шитьем. Именно так сестра прочла всю *“Историю Церкви” Брайта*⁶⁶, ставшую ее любимой книгой. Боюсь, мы не всегда с уважением относились к ее занятиям... В целом сестру не считали красивой, хотя у нее были (в то время, о котором я рассказываю) почти идеальные руки». Что касается этого важного замечания, мы можем обратиться к портрету 17-летней мисс Уиллетт, написанному каким-то местным художником. Не нужно особого ума, дабы понять, что это лицо не могло снискать расположения в ратуше Пембрука в 1840 году. Тяжелая коса волос (которым художник придал блеск) обвивает лоб; большие глаза, слегка выпученные; губы полные, но не чувственные; единственная черта, которая при сравнении мисс Уиллетт с ее подругами, обычно придавала ей смелости, – это нос; возможно, кто-то сказал при ней, что это прекрасный нос – волевой нос для женщины; во всяком случае, все портреты мисс Уиллетт, кроме одного, написаны в профиль.

Можно представить себе (если воспользоваться полезной формулировкой мисс Линсетт), что эта *«застенчивая и неловкая девушка, склонная витать в облаках»*, заходившая в свинарник и читавшая исторические книги вместо художе-

⁶⁶ Уильям Брайт (1824–1901) – английский церковный историк и англиканский священник. Вероятно, имеется в виду его книга (1860) «История Церкви от Миланского эдикта до Халкидонского собора»; она была написана позже, чем юная героиня могла ее прочесть, но данный рассказ был опубликован посмертно, и Вирджиния Вулф его не редактировала.

ственных, не получила удовольствия от своего первого бала. Слова ее брата, очевидно, подытожили то, что витало в воздухе, когда они возвращались домой. Мисс Уиллетт нашла укромный уголок в большом бальном зале, где отчасти могла скрыть свою крупную фигуру, и стала ждать, когда ее пригласят на танец. Она разглядывала гирлянды, украшавшие городской герб, и пыталась представить себе, что сидит на камне, а вокруг нее жужжат пчелы; она думала о том, что никто во всем зале, вероятно, не знает лучше нее, что означает Клятва о единообразии⁶⁷; потом мисс Уиллетт пришло в голову, что через шестьдесят лет или даже меньше все присутствующие уже будут кормить червей; а потом мисс Уиллетт подумала, успеет ли она до того момента дать всем танцующим вокруг нее мужчинам повод уважать ее. Она написала мисс Эллен Бакл, которой адресованы все ее ранние письма, что *«наше разочарование смешивается с удовольствием в достаточно разумных пропорциях, дабы мы не забывали...»* и т.д. И все же вполне вероятно, что из всех людей, танцевавших в ратуше и теперь кормящих червей, мисс Уиллетт была лучшей собеседницей, даже если танцевать с ней не хотелось. У нее тяжелое, но умное лицо.

Это впечатление в общем-то подтверждается ее письмами. *«Сейчас десять часов, и я легла в постель, но сначала*

⁶⁷ Возможно, Закон о единообразии 1662 года – парламентский акт, определяющий форму публичных молитв, таинств и других обрядов Церкви Англии в соответствии с обрядами и церемониями, предписанными в Книге общих молитв 1662 года.

напишу тебе... Это был тяжелый, но, надеюсь, бесполезный день... Ах, моя дорогая подруга, ибо дороже тебя нет, как мне вынести тайны моей души и тяжесть того, что поэт называет "непознаваемым миром"⁶⁸, и не поделиться с тобой?» Надо отбросить в сторону все эти приевшиеся комплименты и попытаться проникнуть в мысли мисс Уиллетт. Примерно до восемнадцати лет она не осознавала, что имеет какое-либо отношение к миру; вместе с самосознанием пришла необходимость разобраться в данном вопросе и, как следствие, ужасная депрессия. Зная лишь то, что оставила нам мисс Уиллетт, мы можем только догадываться, каким образом она пришла к своим представлениям о человеческой натуре, о добре и зле. Из исторических книг она почерпнула общие представления о гордости, алчности и фанатизме, а из «Уэверли»⁶⁹ – о любви. Эти идеи смутно беспокоили ее. Из религиозных трудов, одолженных ей мисс Бакл, она с облегчением узнала, как можно убежать от мира и при этом обрести вечную радость. Теперь она могла стать величайшей святой на свете, применяя простое правило: перед тем как заговорить или что-либо сделать, спрашивать себя: «А правильно ли это?» Мир тогда был просто отвратителен, но чем уродливее он казался ей, тем добродетельнее она ста-

⁶⁸ Цитата из стихотворения Уильяма Вордсворта «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства при повторном путешествии на берега реки Уай».

⁶⁹ «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» – исторический роман (1814) Вальтера Скотта.

новилась. *«Смерть была в том доме, и ад разверзся перед ней»*, – написала она, пройдя однажды вечером мимо комнаты с малиновыми окнами и услышав доносившиеся из нее голоса танцующих, но ощущения, с которыми она писала, не были такими уж болезненными. Тем не менее серьезность защищала ее лишь отчасти и оставляла место для бесчисленных мучений. *«Неужели я – единственная ошибка природы?»* – спрашивала она себя в мае 1841 года. – *За окнами щебечут птицы, и даже насекомые сбрасывают с себя зимнюю личину»*. Словно лишь она одна была *«плоха, как пресный хлеб»*. Ею овладела пугающая осознанность, и она пишет мисс Бакл так, словно видела, как ее тень трепещет над всем миром под критическим взглядом ангелов. Тень эта была горбатой, кривой и распухшей от зла, и попытки исправить его стоили обоим молодым женщинам больших усилий. *«Все бы отдала, чтобы помочь вам!»* – пишет мисс Бакл. Нам уже трудно понять, к чему именно они стремились, хотя ясно, что обе представляли себе состояние, при котором душа пребывает в покое и блаженстве, а идеалом считали достижение такого состояния. Можно ли сказать, что они стремились к красоте? Поскольку ни одну из них в этот период не интересовало ничего, кроме добродетели, возможно, частью их религии было некое завуалированное эстетическое удовольствие. Находясь в этом религиозном трансе, они, по крайней мере, оставались вне своего окружения. А единственное удовольствие, которое они позволяли себе испытывать, приносило

смирение.

Здесь, к сожалению, мы подходим к пропасти. Эллен Бакл, как и следовало ожидать, ибо она испытывала меньшее отвращение к миру, нежели ее подруга, и лучше умела перекладывать свое бремя на человеческие плечи, вышла замуж за инженера, который навсегда развеял ее сомнения. В то же время сама Фрэнсис пережила загадочную историю, которую мисс Линсетт самым досадным образом скрывает в следующем отрывке. *«Никто из читателей этой книги («Распятие жизни») не может усомниться в том, что сердце, породившее горести Этель Иден в ее несчастной любви, само испытало часть столь прочувствованно описанных мук, — столько мы вправе сказать, большего нам не дано»*. Таким образом, самое интересное событие в жизни мисс Уиллетт из-за боязливого ханжества и унылых литературных условностей ее подруги осталось неизвестным. Конечно, разумно предположить, что она влюбилась, надеялась и увидела крушение своих надежд, но как именно это произошло и что она чувствовала, мы можем только догадываться. Ее письма этого периода невыразимо скучны, но отчасти потому, что слово *«любовь»* и целые абзацы, испещренные им, превратились в звездочки и многоточия. Нет больше ни разговоров о недостойности, ни *«найти бы мне убежище от мира — вот было бы благословение»*; тема смерти исчезает совсем; кажется, мисс Уиллетт вступила во вторую фазу своей жизни, когда, усвоив или отбросив теории, она стремилась только к

самосохранению. Смерть ее отца в 1855 году завершает одну главу, а переезд в Лондон, где она содержала дом для своих братьев на Блумсбери-сквер, начинает следующую.

На этом этапе мы больше не можем игнорировать то, на что уже неоднократно намекали; ясно, что надо полностью отказаться от мисс Линсетт или весьма вольно интерпретировать ее текст. Наряду с *«кратким очерком истории Блумсбери»*, рассказами о благотворительных обществах и их героях, главой о посещении больницы королевскими особами, восхвалением действий Флоренс Найтингейл⁷⁰ в Крыму, мы видим лишь восковую копию мисс Уиллетт, накрытую стеклянным колпаком. И вот уже хочется раз и навсегда захлопнуть книгу, когда размышления заставляют взять паузу; все это, в конце концов, необычайно странно. Невероятно, чтобы люди считали подобные вещи правдой друг о друге, а если не считают, то утруждались их высказывать. *«Мисс Уиллетт по праву уважали за ее доброжелательность, строгость и прямоту, которая, однако, ни разу не навлекла на нее упреков в жестокосердии... Она любила детей, животных и вес-*

⁷⁰ Флоренс Найтингейл (1820–1910) – сестра милосердия и общественный деятель Великобритании. 21 октября 1854 года, в период Крымской войны, Флоренс вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Стамбул, а затем в Крым. Она проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными, в результате чего смертность раненых за полгода существенно снизилась. В 1856 году Флоренс на свои деньги поставила на горе над Балаклавой большой крест из белого мрамора в память о солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Крымской войне.

ну, а Вордсворт⁷¹ был одним из ее “прикроватных поэтов”... Переживая смерть отца с ранимостью преданной дочери, она, однако, не поддавалась бесполезному и, следовательно, эгоистичному роптанию... Можно сказать, что бедняки заменили ей собственных детей». Собрать подобные цитаты – легкий способ высмеять их, но ровный гул книги, в который они вплетены, отодвигает сатиру на второй план; удручает не абсурдность фраз, а вера в них мисс Линсетт. Во всяком случае, она считала, что такими достоинствами следует восхищаться и что нужно приписывать их своим друзьям как ради них самих, так и ради самой себя, поэтому читать эту книгу – все равно что наглухо завесить окна и запереться в комнате, обитой бордовым плюшем и заваленной ее текстами. Было бы интересно узнать, что послужило причиной такого любопытного взгляда на человеческую жизнь, но достаточно сложно избавить мисс Уиллетт от масок, надетых на нее подругой, не спрашивая, где та их нашла. К счастью, есть все признаки того, что мисс Уиллетт была вовсе не такой, как в книге. Они проявляются в заметках, письмах и особенно на портретах. Вид ее крупного эгоистичного лица с широким умным лбом и угрюмыми, но пронизательными глазами опровергает все банальности на смежных с портретами страницах текста; мисс Уиллетт выглядит вполне способной обхитрить мисс Линсетт.

Когда умер отец мисс Уиллетт (которая всегда его недо-

⁷¹ Уильям Вордсворт (1770–1850) – английский поэт-романтик.

любливали), она воспрянула духом и решила найти в Лондоне применение *«своим великим талантам, о которых я знаю»*. Живя в бедном районе, женщина в те времена, очевидно, должна была творить добро, и мисс Уиллетт поначалу образцово посвящала себя этому занятию. Не будучи замужем, она решила представлять несентиментальную часть общества, и если другие женщины рожали детей, то она хотела сделать что-нибудь для здоровья этих детей. У нее вошло в привычку оценивать свой духовный прогресс и отмечать его на пустых страницах в конце дневника, где обычно записывают свой вес, рост или время суток; ей часто приходилось упрекать свой *«неустойчивый дух, который вечно стремится увлечь меня, но, спрашивается, куда?»*. Возможно, поэтому она не была так уж довольна своей филантропией, как хотелось верить мисс Линсетт. *«Знаю ли я, что такое счастье?»* – на редкость откровенно спрашивает она себя в 1859 году и, подумав, отвечает *«нет»*. Представлять мисс Уиллетт в этот период степенной здравомыслящей женщиной, какой ее рисует подруга, – устало творящей добро, но исполненной непоколебимой веры, – совершенно неверно; напротив, она была беспокойной и недовольной женщиной, искавшей собственного счастья, а не счастья для других. Именно тогда она вспомнила о литературе и в тридцать шесть лет взяла в руки перо скорее для того, чтобы оправдать свое сложное духовное состояние, нежели сказать то, что должно было быть сказано. Сложность ее состояния очевидна, даже если мы,

далекие от этого, не решаемся дать ему определение. Во всяком случае, мисс Уиллетт обнаружила, что у нее *«нет призвания»* к филантропии, и 14 февраля 1856 [1859?] года сообщила об этом преподобному Р.С. Роджерсу в беседе, которая *«была болезненной и волнительной для нас обоих»*. Сказав это, она, однако, признала, что лишена многих добродетелей, и ей нужно было доказать, по крайней мере себе, что у нее есть и другие достоинства. В конце концов, просто сидеть с открытыми глазами – значит наполнять мозги, а если время от времени опустошать их, можно, пожалуй, произвести на свет нечто прекрасное. Джордж Элиот⁷² и Шарлотта Бронте⁷³, должно быть, способствовали написанию многих романов этого периода, ведь они раскрыли секрет, что драгоценный материал, из которого создаются книги, есть в любой гостиной и кухне, где живут женщины, и приумножается с каждой секундой.

Мисс Уиллетт придерживалась теории, что никакая подготовка не нужна, но считала неприличным описывать увиденное, поэтому вместо портрета братьев (а один из них вел очень странную жизнь) или воспоминаний об отце (за что мы были бы весьма благодарны) она придумала арабских любовников и поселила их на берегу Ориноко⁷⁴. Она застави-

⁷² Джордж Элиот (1819–1880) – псевдоним английской писательницы Мэри Энн Эванс.

⁷³ Шарлотта Бронте (1816–1855) – английская поэтесса и романистка.

⁷⁴ Река в Южной Америке.

ла их жить в идеальной общине, потому что ей нравилось устанавливать рамки и законы, а тропический пейзаж помогал добиться нужного эффекта быстрее, чем виды Англии. Она посвящала множество страниц описаниям *«гор, похожих на облачные бастионы, если бы не глубокие синие ущелья, рассекающие их склоны, и сверкающие, словно бриллианты, каскады, которые прыгают и сверкают, то золотистые, то пурпурные, скрывающиеся в тени сосновых лесов и вновь выходящие на солнце, чтобы у подножия гор затеряться мириадами ручьев в пастбищах, покрытых цветочной эмалью»*. Но когда ей приходилось описывать возлюбленных, разговоры женщин в шатрах на закате, когда пригоняли коз для дойки, или мудрость *«того старика, который был свидетелем слишком многих рождений и смертей, чтобы радоваться одному и сетовать на другое»*, она мямлила и явно испытывала неловкость. Она не могла сказать «я люблю тебя», но использовала местоимения «ты» и «тобой»⁷⁵, которые своей косвенностью как бы намекали, что она не берет на себя никаких обязательств. Та же застенчивость не позволяла ей представить себя ни арабом, ни его невестой, ни вообще кем-либо, кроме автора, чей высокопарный голос перемежал диалоги и объяснял, что под звездами в тропиках и под тенистыми вязами в Англии нас преследуют одни и те же искушения.

По этим причинам мало кто в наше время дочитает ее

⁷⁵ Имеются в виду устаревшие английские местоимения «thee» и «thou».

книгу до конца, да и сама мисс Уиллетт сомневалась, позволительно ли писать хорошо. В выборе выражений ей чудилось нечто лукавое; лучше всего писать прямо, говорить все, что приходит в голову, как ребенок на коленях у матери, и уповать на то, что в награду за это в тексте будет какой-то смысл. Тем не менее ее книга выдержала два издания, причем один критик сравнил ее с романами Джордж Элиот, если не считать *«более удовлетворительного»* тона, а другой провозгласил, что это *«работа мисс Мартино⁷⁶ или самого Дьявола»*.

Если бы мисс Линсетт была жива (она умерла в Австралии несколько лет назад), хотелось бы спросить ее, по какому принципу она разделила жизнь подруги на главы. Похоже, они в основном связаны с ее переездами, и это лишь подкрепляет нашу уверенность в том, что у мисс Линсетт не было других «ключиков» к характеру мисс Уиллетт. Большие перемены, несомненно, произошли после публикации романа «Линдмара: фантазия». Когда у мисс Уиллетт произошла незабываемая *«сцена»* с мистером Роджерсом, она была так взволнована, что дважды обошла Бедфорд-сквер, а вуаль прилипла к ее лицу из-за слез. Ей казалось, будто все эти разговоры о филантропии – сущая чепуха, не дающая человеку шанса на *«личную жизнь»*, как она это называ-

⁷⁶ Гарриет Мартино (1802–1876) – английская писательница, экономист и социолог; популяризатор экономической науки с помощью рассказов, имевших колоссальный успех.

ла. У нее появились мысли об эмиграции и основании общества, в котором она видела себя – к окончанию второй фазы жизни – седовласой и читающей мудрости из книги трудолюбивым ученицам, очень похожим на знакомых ей людей, но называвшим ее неким синонимом слова «мать». В «Линд-маре» есть отрывки, намекающие на это и косвенно упоминające мистера Роджерса – *«человека, в котором не было мудрости»*. Но мисс Уиллетт была ленива, а похвалы придавали ей убедительности, хотя исходили не от тех людей. Лучшие ее тексты – мы ознакомились с несколькими книгами, а вывод, похоже, согласуется с нашей теорией, – были написаны в качестве самооправдания, но, добившись цели, она продолжила пророчествовать для других, витая скорее в тучах, нежели в облаках, что сильно повредило ее здоровью. Она чрезвычайно располнела – *«симптом болезни»*, как выразилась мисс Линсетт, тяготевшая к этой скорбной теме, а для нас – симптом чаепитий в ее маленькой душной гостиной с пятнистыми обоями и задушевных бесед о *«Душе»*. Именно *«Душа»* стала предметом ее интереса, и мисс Уиллетт покинула южные равнины ради необычной страны, окутанной вечными сумерками, где есть нечто духовное, но бестелесное. Итак, мисс Линсетт, пребывавшая в то время в глубоком унынии – *«смерть обожжаемого родителя лишила меня всех земных надежд»* – отправилась навестить мисс Уиллетт и ушла от нее возбужденной и дрожащей, но уверенной, что та знает ответы на все вопросы. Мисс Уиллетт

была слишком умна, чтобы верить, будто кто-то может знать ответы на все вопросы, но вид этих чудных маленьких дрожащих женщин, снизу вверх глядевших на нее в ожидании побоев или ласки, словно спаниели, вызывал массу эмоций, и не все из них были плохими. Она поняла: эти женщины хотят, чтобы им сказали, что они являются частичками целого, и скорее напоминают мух в кувшине с молоком, пытающихся схватиться за ложку и выбраться. К тому же она знала, что для работы нужна мотивация; она обладала силой убеждения, а власть, которая по праву принадлежала бы ей как матери, была ей дорога, даже когда доставалась неправомерным путем. Был у нее и другой дар, без которого все прочее не имело бы значения: она умела впадать в транс. Говоря людям, что нужно делать, она сначала шепотом, а затем срывающимся и дрожащим голосом сообщала им некие мистические причины, почему надо делать именно так. Для этого ей нужно было заглянуть, так сказать, за грань бытия, и поначалу она честно старалась не рассказывать больше того, что увидела там. Обычная жизнь, когда человек прикован, словно мишень для стрел обывателей, казалась ей по большей части скучной, а порой и невыносимой. Своего рода снадобье, дурманящее и сладкое, будто хлороформ, размывающее границы и заставляющее повседневную жизнь плясать перед глазами, намекая на открывающуюся за ней даль, – вот что им было нужно, и природа создала ее способной им его дать.

«Жизнь – тяжелая школа, – говорила она, – как можно вы-

нести ее, если только...» — а затем могла разразиться речью о деревьях, цветах, рыбах в морских глубинах и вечной гармонии, откинув голову и закатив глаза, чтобы лучше все это видеть. *«Мы часто ощущали, что среди нас есть Сивилла»*, — пишет мисс Хейг, и если сивиллы⁷⁷ хоть немного вдохновляют, осознают глупость своих учеников, сочувствуют им, жаждут аплодисментов и путаются в собственных мыслях, то мисс Уиллетт точно была Сивиллой. Но самое поразительное во всем этом — печальное представление о духовном состоянии Блумсбери в тот период, когда мисс Уиллетт задумчиво сидела на Уоберн-сквер, словно сытый паук в центре паутины, а по всем ее нитям ползли несчастные женщины, похожие на маленьких куриц, страшившиеся солнца, телег и ужасного мира и стремившиеся спрятаться от всего этого в складках юбок мисс Уиллетт. Эндрюсы, Сполдинги, молодой мистер Чарльз Дженкинсон, *«который с тех пор покинул нас»*, старая леди Баттерсби, страдавшая от подагры, мисс Сесили Хейг, Эбенизер Умфелби, знавший о жуках больше, чем кто-либо в Европе, — все эти люди, которые заходили к ней на чай, а по воскресеньям на ужин и оставались побеседовать, снова оживают и почти неодолимо манят нас узнать о них больше. Как они выглядели, чем занимались, чего хотели от мисс Уиллетт и что думали о ней за глаза? Но мы уже не узнаем этого и никогда больше не услышим о них. Они безвозвратно канули в Лету.

⁷⁷ Сивиллы — в античной культуре пророчицы и прорицательницы.

Что ж, остается только изложить суть последней длинной главы, которую мисс Линсетт назвала «Завершение». Безусловно, это очень странная глава. Мисс Линсетт, которую завораживала идея смерти, воркует и прихорашивается перед концом и не может заставить себя поставить точку. Легче писать о смерти в целом, нежели об окончании жизни конкретного человека; в ход идут общие фразы, которые время от времени хочется самому пустить в ход, и есть в прощании с человеком нечто такое, что смягчает тон и заставляет говорить приятные вещи. Более того, мисс Линсетт по натуре не доверяла жизни: та была шумной и заурядной, никогда не обходилась с ней особенно хорошо и при каждом удобном случае доказывала, что люди смертны, словно одергивала невоспитанного школьника. При желании можно было бы рассказать об этих последних месяцах жизни мисс Уиллетт подробнее, чем обо всех предыдущих. Мы точно знаем, от чего она умерла. Повествование замедляется до похоронного темпа, и каждое слово в нем смакуется, но на самом деле все сводится к следующему. Мисс Уиллетт уже несколько лет страдала от внутренних болезней, но упоминала о них только в кругу близких друзей. Затем, осенью 1884 года, она подхватила простуду. *«Это стало началом конца, и с того момента надежды почти не осталось»*. Однажды ей сказали, что она умирает, но мисс Уиллетт *«казалась увлеченной ковриком, который делала для племянника»*. Когда она слегла, то не хотела никого видеть, кроме старой служанки Эм-

мы Грайс, работавшей на нее уже 30 лет. Наконец, в ночь на 18 октября, *«ненастной осенней ночью с сильным ветром и порывами дождя»*, мисс Линсетт позвали прощаться. Мисс Уиллетт лежала на спине, закрыв глаза, а ее лицо, наполовину скрытое тенью, выглядело *«очень величественно»*. Мисс Уиллетт пролежала так всю ночь, не произнеся ни слова, ни разу не повернувшись и не открыв глаза. Один раз она подняла левую руку, *«на которой было обручальное кольцо ее матери»*, и снова опустила; собравшиеся ожидали чего-то большего, но, не зная, что именно нужно мисс Уиллетт, ничего не предприняли; через полчаса дыхание под стеганым одеялом прекратилось, а они тихо вышли из своих углов и увидели, что мисс Уиллетт мертва.

После прочтения этой сцены с ее неуместными подробностями и изысканными деталями, нагнетающими кульминацию: как она изменилась в лице, как ей протерли лоб одеколоном; как пришел мистер Салли, а потом ушел; как стебли вьюнка барабанили по стеклу; как побледнела комната, когда забрезжил рассвет; как защелкали воробьи и загромыхали телеги, ехавшие через площадь на рынок, – понимаешь, что мисс Линсетт нравилась смерть, что она вызывала бурю эмоций и давала ей временное ощущение, что все это имеет хоть какой-то смысл. На мгновение она полюбила мисс Уиллетт; мгновением позже смерть мисс Уиллетт даже осчастливила ее. Это был конец, не омраченный возможностью начать все сначала. Но потом, вернувшись домой и позавтра-

кав, мисс Линсетт почувствовала себя одинокой, ведь у них с мисс Уиллетт вошло в привычку вместе ходить по воскресеньям в Сады Кью.

1917–1921

Пятно на стене

Данный рассказ был впервые опубликован в июле 1917 года вместе с рассказом Леонарда Вулфа⁷⁸ “Три еврея” в сборнике “Две истории” – первой публикации издательства “Hogarth Press”. С небольшими изменениями “Пятно на стене” было выпущено отдельным изданием в июне 1919 года, а позже включено (с дополнительными правками) в сборники ВВ-ПЛВ и ВВ-ДП. Правки, внесенные Вирджинией при переиздании в 1919 и 1921 годах, были стилистическими: она изменила некоторые знаки препинания, переформулировала несколько предложений и удалила несколько коротких фрагментов. Один большой вычеркнутый отрывок возвращен в текст и заключен в квадратные скобки.

Полагаю, где-то в середине января этого года я впервые подняла взгляд и увидела пятно на стене. Чтобы точно определить дату, нужно вспомнить, как именно все было. И вот

⁷⁸ Леонард Вулф (1880–1969) – политический теоретик, писатель, издатель, муж ВВ.

уже я представляю себе камин; ровную пелену желтого света поверх открытой книги; три хризантемы в круглой стеклянной вазе на каминной полке. Да, должно быть, стояла зима и мы как раз допили чай, ибо я помню, что курила сигарету, когда подняла взгляд и впервые заметила пятно на стене. Я смотрела сквозь сигаретный дым, и на мгновение взгляд задержался на горящих углях, а в голове возник тот давний образ пурпурного флага, развевающегося на башне замка, и я представила себе кавалькаду рыцарей в красном, скачущих по склону черной скалы. К моему облегчению, вид пятна прервал мои мысли, эту старую произвольную фантазию, возникшую, кажется, еще в детстве. То было небольшое круглое пятно, черное на белой стене, в шести-семи дюймах над каминной полкой.

Как легко наши мысли устремляются к новому объекту, приподнимают его, словно муравьи, лихорадочно подхватывающие соломинку, а потом отпускают... Если это и была дырочка от гвоздя, то на нем наверняка висела не картина, а миниатюра – миниатюрное изображение дамы с напудренными добела локонами, напудренными щеками и губами цвета красной гвоздики. Безвкусица, конечно, ибо прежние владельцы дома тяготели к подобным вещицам – старинным картинам для старых комнат. Такими вот они были, эти очень интересные люди, и я часто вспоминаю о них в самые неожиданные моменты, ведь никогда больше их не увижу и не узнаю, что с ними стало. Они решили переехать, чтобы

сменить обстановку, так сказал *он*; он как раз начал говорить, что, по его мнению, за искусством должны стоять идеи, когда нас разлучили – как разлучает мчащийся поезд, который пронесится мимо пригородной виллы, где старушка в саду на заднем дворе разливает чай, а юноша вот-вот ударит ракеткой по теннисному мячу.

Насчет пятна я не уверена; не думаю, что оно от гвоздя; крупноватое и уж слишком округлое. Можно, конечно, встать и посмотреть, но ставлю десять к одному, что я все равно ничего точно не определю, ведь стоит чему-то произойти, и уже никто толком не знает, как именно это произошло. О боже мой, ну и загадка жизни! Неточность мысли! Невежество людское! Чтобы продемонстрировать, как мало у нас власти над собственными вещами, насколько наша жизнь со всей ее цивилизованностью подвержена случайности, позвольте просто перечислить несколько вещей, потерянных в течение жизни, начав с потери трех бледно-голубых ящичков с инструментами для переплета книг – самой загадочной из всех: какая кошка могла их сгрызть, какая крыса – обглодать? Исчезли и птичьи клетки, и металлические обручи, и коньки со стальными лезвиями, и ведро для угля времен королевы Анны⁷⁹, и доска для игры в багатель⁸⁰, и

⁷⁹ Анна Стюарт (1665–1714) – королева Англии, Шотландии и Ирландии с 1702 года.

⁸⁰ Настольная игра, в которой нужно попасть в лунку шариком, направив его ударом кия вверх по наклоненной доске; промежуточное звено между бильярдом и пинболом.

шарманка – все куда-то делось, и драгоценности тоже. Изумруды и опалы теперь где-то в грядках репы. Как же все тережится и растрачивается! Удивительно, что на мне вообще есть хоть какая-то одежда, да и мебель вокруг тоже на месте. Уж если и сравнивать с чем-то жизнь, так это с поездкой в метро – несешься на скорости пятьдесят миль в час, а потом выныриваешь на другом конце без единой шпильки в волосах! Падаешь в ноги к Богу абсолютно голой! Кубарем летишь по лугам асфodelей, словно коричневая посылка в пневмотрубе⁸¹ на почте! Волосы развеваются, словно хвост скаковой лошади. Да, вот так и проносится жизнь, одно чинишь, а другое выкидываешь; все так небрежно и так случайно...

Но вот после жизни. Медленно пригибаешь толстые зеленые стебли, и чашечка цветка, опрокидываясь, заливает тебя пурпурным и красным светом. Почему бы, в конце концов, не родиться там так же, как здесь, беспомощными, безмолвными, неспособными фокусировать взгляд, и цепляться за корни травы, пальцы ног Великанов? Но вот на понимание того, где деревья, а где мужчины и женщины и существуют ли вообще такие существа, уйдет лет пятьдесят, не меньше. Не будет ничего, кроме пространств света и тьмы, разделенных толстыми стеблями, а над ними, возможно, пятна в форме розочек непонятного цвета, тускло розовые или голубые,

⁸¹ Система перемещения штучных грузов под действием сжатого или разреженного воздуха.

– лишь со временем станет ясно, что это – я не знаю...

И все же пятно на стене – это вовсе не дырочка. Быть может, нечто округлое и черное – маленький лист розы, например, оставшийся с лета, а я просто не очень хорошая хозяйка – взгляните хотя бы на слой пыли на каминной полке, такой толстый, что под ним, говорят, можно похоронить три Трои, и только черепки амфор, как видно, отказываются истлеть окончательно.

[Однако я знаю домработницу, женщину с профилем полисмена, с этими круглыми пуговичками, которые видны даже у ее тени; женщину с метелкой в руках, водящую большим пальцем по картинным рамам, заглядывающую под кровати и всегда говорящую об искусстве. Она подходит все ближе и ближе, и вот уже, указывая на пятна ржавчины на каминной решетке, она становится такой грозной, что мне придется встать и прогнать ее, а потом самой посмотреть, что это за пятно...

Но нет. Я отказываюсь уступать. И с места не двинусь. Не буду признавать ее существования. Видите, она уже блекнет. Я почти избавилась и от нее, и от этих инсинуаций, которые, впрочем, отчетливо слышу. И все же есть в ней какая-то тоска, присущая людям, стремящимся к компромиссу. И какое мне вообще дело до того, что у нее дома есть несколько книг и одна-две картины? Что меня действительно возмущает, так это ее возмущение мной – в конце концов, жизнь состоит из нападения и защиты.

Разберусь с ней в другой раз, не сейчас. Ей пора идти.]

Ветви дерева за окном тихонько постукивают по стеклу... Хочется думать в тишине, спокойно, свободно, чтобы меня не прерывали, чтобы не приходилось вставать с кресла, – просто плавно скользить от одной мысли к другой и не ощущать ни враждебности, ни препятствий. Хочется погружаться все глубже и глубже, подальше от поверхности с ее жесткими разрозненными фактами. Дабы успокоиться, позвольте мне ухватиться за первую пришедшую в голову мысль... Шекспир⁸²... Что ж, вполне подойдет, не хуже прочего. Вот человек устроился в кресле и смотрит на огонь в камине – поток идей непрерывно льется в его разум откуда-то с самых Небес. Он оперся лбом на ладонь, и люди, заглядывая в открытую дверь – действие должно происходить летним вечером, – но как же скучен весь этот исторический вымысел! Меня он совершенно не волнует. Уж лучше бы мне в голову пришло что-нибудь интересное, косвенно выставяющее меня в выгодном свете, ведь думать об этом приятнее всего, и такие мысли часто посещают даже самых скромных людей, серых мышек, искренне верящих, что им неприятно слушать похвалы в свой адрес. Но это же не прямая похвала – в том-то и прелесть подобных мыслей, обычно таких:

«А потом я вошла в комнату. Они обсуждали ботанику. Я рассказала, что видела цветок, растущий на свалке на месте старого дома на Кингсуэй. Сказала, что семена,

⁸² Уильям Шекспир (1564–1616) – величайший английский поэт и драматург.

должно быть, посеяли еще при Карле Первом. Какие цветы росли в те времена?» – спросила я (но не помню ответа). Возможно, высокие цветы с пурпурными кисточками. И так далее. Все это время я любовно, украдкой наряжаю в мыслях собственную фигуру, но не люблю ее открыто, потому что иначе тут же уличила бы себя и в порядке самозащиты потянулась за книгой. В самом деле, любопытно, как человек инстинктивно оберегает свой собственный образ от идолопоклонства и любого другого обращения с ним, способного выставить его нелепым или сделать настолько непохожим на оригинал, что в него перестанут верить. А может, не так уж это и любопытно? Вопрос чрезвычайно важный. А если зеркало разобьется, изображение исчезнет и романтической фигуры, окутанной зеленью лесной чащи, не останется, а будет лишь телесная оболочка, которую видят люди, – каким же душным, плоским, голым и выпуклым станет этот мир! Мир, в котором не стоит жить. Встречая друг друга в омнибусах и метро, мы каждый раз будто смотримся в зеркало; отсюда и расплывчатость, стеклянный блеск в глазах. Со временем романисты будут все сильнее осознавать важность подобных отражений, ибо их бесконечное множество, а не какое-то одно; именно эти глубины им предстоит исследовать, именно эти фантомы преследовать и все чаще обходиться в своих произведениях без описания реальности, считая знание о ней само собой разумеющимся, как это делали греки и, возможно, Шекспир, – впрочем, совершенно

бесполезные *генерализации*. Одного воинственного звучания этого слова достаточно⁸³. Оно напоминает о передовицах и членах кабинета министров – о целом ряде вещей, которые в детстве казались само собой разумеющимися, стандартом, реальностью, отказ от которой всегда грозил невыразимым ужасом. Обобщения каким-то образом навевают воспоминания о воскресном Лондоне, воскресных прогулках, воскресных обедах, а еще об особой манере вспоминать усопших, об одежде и привычках – например, о привычке собираться вместе и сидеть в одной комнате до определенного часа, хотя никому это не нравится. Для всего существовали свои правила. Скажем, скатерти в то время нужно было непременно шить из гобелена в мелкую желтую клеточку – как у ковров на фотографиях коридоров королевских дворцов. Другие скатертями не считались. Какой шок и в то же время какое чудо – обнаружить, что все эти якобы реальные вещи: воскресные обеды, воскресные прогулки, загородные дома и скатерти – не вполне реальны, скорее фантомы, а ужас, который постиг неверующего в них, – всего-навсего ощущение незаконной свободы. Интересно, что же теперь займет их место, что заменит эти стандарты реальности? Возможно, мужчины, если вы женщина, мужской взгляд на мир, который управляет нашей жизнью, задает стандарты, устанавли-

⁸³ ВВ играет на сходстве слова *generalization* («обобщение») со словом *general* («генерал»).

ливают табель о рангах Уитакера⁸⁴, хотя после войны, я полагаю, он стал наполовину фантомом для многих мужчин и женщин, а вскоре, стоит надеяться, и вовсе будет со смехом выброшен на свалку, где, собственно, и место всем фантомам, сервантам из красного дерева и гравюрам Ландсира⁸⁵, богам и демонам, аду и прочему, а мы все останемся с пьянящим чувством незаконной свободы, если свобода вообще существует...

При определенном освещении пятно на стене и вовсе кажется выпуклым. И не таким уж округлым. Не вполне уверена, но оно как будто отбрасывает тень, а значит, если я проведу пальцем вниз по этой полоске стены, то в определенном месте он поднимется и опустится по гладкому бугорку, как по холмам Саут-Даунс⁸⁶, которые, говорят, скрывают не то могилы, не то стоянки⁸⁷. Из двух этих вариантов я бы предпочла могилы, поскольку, как и большинство англичан, склонна к меланхолии и нахожу естественным думать в кон-

⁸⁴ Джозеф Уитакер (1820–1895) – английский издатель, основавший так называемый Альманах Уитакера, который содержал, в частности, сведения о пэрстве Соединенного Королевства и Британской империи. ВВ часто прибегала к Альманаху при написании «Трех гиней».

⁸⁵ Эдвин Генри Ландсир (1802–1873) – английский художник эпохи романтизма. Многие его популярные картины были воспроизведены в гравюрах на стали его братом Томасом.

⁸⁶ Возвышенность, одна из четырех областей отложений мела в Южной Англии.

⁸⁷ Археологический термин для обозначения поселений (мест обитания) первобытных людей (эпох палеолита, неолита и бронзового века) или мест остановки кочевников.

це прогулки о костях, погребенных под дерном... Наверняка о них уже написана книга. Наверняка какой-нибудь охотник за древностями раскопал эти кости и дал им названия... Интересно, кто они – эти охотники за древностями? По большей части, смею предположить, отставные полковники, которые приводят на вершину группы престарелых чернорабочих, исследуют комья земли и камни, вступают в переписку с местным духовенством, и, вскрывая за завтраком письма, наполняются чувством собственной важности, а сравнение наконечников стрел вынуждает их совершать поездки по пересеченной местности в уездные города – приятная необходимость и для них, и для их почтенных жен, которым хочется сварить сливовое варенье или навести порядок в кабинете мужа, а значит, им выгодно, чтобы этот важнейший вопрос *«стоянки или могилы?»* как можно дольше оставался в подвешенном состоянии, в то время как сам полковник относится к этому философски, методично собирая доказательства в пользу обоих вариантов. Правда, в конце концов он склоняется к версии о стоянке, и, столкнувшись с критикой, пишет памфлет, который собирается прочесть на ежеквартальном собрании местного общества, но полковника хватает удар, и в угасающем сознании его последние мысли вовсе не о жене или детях, а о стоянке и наконечнике стрелы, который теперь хранится в местном музее вместе со ступней женщины-убийцы из Китая, горстью гвоздей елизаветинской эпохи, множеством глиняных курительных трубок эпохи Тюдо-

ров⁸⁸, древнеримским черепком и винным бокалом, из которого пил Нельсон⁸⁹, что доказывает нам – сама не знаю что.

Нет-нет, ничего не доказано, ничего доподлинно не известно. И если бы я сейчас встала и убедилась, что пятно на стене – это действительно – что, например? – шляпка огромного старого гвоздя, вбитого лет двести назад, а теперь – благодаря усердному труду многих поколений горничных, протиравших стену, – выступившего из-под слоя краски и впервые увидевшего современную жизнь в освещенной огнем комнате с белыми стенами, – что бы я получила? Знание? Материал для дальнейших рассуждений? Думать об этом я могу и сидя, не вставая с кресла. Да и что такое знание? Кто они, наши ученые мужи, как не потомки ведьм и отшельников, прятавшихся по пещерам и лесам, заваривая зелья, разговаривая с землеройками и записывая язык звезд? И тем меньше мы почитаем их, чем меньше у нас суеверий и больше уважения к красоте и душевному здоровью... Да, можно представить себе очень приятный мир. Тихий просторный мир с красными и голубыми цветами на открытых полях⁹⁰.

⁸⁸ Эпоха Тюдоров (1485–1603) – период в Англии и Уэльсе, включающий елизаветинскую эпоху – время правления королевы Елизаветы I.

⁸⁹ Горацио Нельсон (1758–1805) – командующий британским флотом.

⁹⁰ Система открытых полей – одна из систем землепользования в средневековой Европе, наиболее характерная для Англии. При системе открытых полей пахотные земли сельского поселения делились на наделы крестьян, которые не огораживались. В пределах одного поля каждый крестьянин имел одну или несколько полос пахоты, которые чередовались с полосами других крестьян и феодала,

Мир без профессоров, специалистов и домработниц с лицами полисменов; мир, который можно рассесть одной мыслью, как рыба рассекает плавником воду, задевая стебли кувшинок, зависая над гнездами белых морских икринок... Как же спокойно здесь, внизу, когда, укоренившись в центре мира, смотришь вверх сквозь толщу серой воды с ее внезапными отблесками света и отражениями – если бы только не Альманах Уитакера, если бы не Табель о рангах!

Нет, надо вскочить и узнать, что это за пятно на стене – гвоздь, лист розы, трещина в дереве?

Природа снова берется за свою старую игру в самосохранение. Для нее такой ход мыслей чреват пустой тратой сил и даже каким-то столкновением с реальностью, ибо кто вообще решится поднять руку на Табель о рангах Уитакера? За архиепископом Кентерберийским⁹¹ следует лорд-канцлер⁹², а за ним – архиепископ Йоркский⁹³. Все за кем-то следуют –

при этом, однако, сохранялось единство пахотного пространства, а поле обрабатывалось совместными усилиями всех жителей. Переход от системы открытых полей к огороженным частным участкам был одним из коренных переломов в развитии европейских государств и знаменовал конец феодализма и утверждение капиталистических форм хозяйствования и социальных отношений в сельском хозяйстве.

⁹¹ Духовный глава Церкви Англии в Соединенном Королевстве, а также духовный лидер Англиканского сообщества во всем мире.

⁹² Одна из высших государственных должностей Великобритании; до 2006 года он также председательствовал в палате лордов.

⁹³ Глава церковной провинции Йорк, примас Англии и «младший» из двух английских архиепископов англиканской церкви.

такова философия Уитакера, и самое главное – знать, кто за кем. Вот Уитакер знает, и пускай это, как советует Природа, утешает вас, а не злит; а если не помогает, если все же хочется разрушить этот час покоя, то подумайте о пятне на стене.

Я понимаю эту игру Природы – ее побуждение к действию, лишь бы пресечь любую мысль, способную взволновать или причинить боль. Отсюда, я полагаю, и наше легкое презрение к людям действия – людям, которые, как нам кажется, не думают. И все же нет ничего плохого в том, чтобы пресечь поток неприятных мыслей и сосредоточиться на пятне на стене.

В самом деле, стоит взгляду зацепиться за пятно, и мне кажется, что я ухватила за доску в море; испытываю приятнейшее чувство реальности, которое тут же превращает двух архиепископов и лорд-канцлера в тени теней. Есть в этом что-то определенное, что-то реальное. Так, очнувшись от ночного кошмара и поспешно включив ночник, человек неподвижно лежит, боготворя комод, боготворя материальность, боготворя реальность, боготворя безликий мир, который доказывает существование чего-то, кроме нас. Вот в чем хочется иметь уверенность... Приятно думать о древесине. Она происходит от дерева, а деревья растут, и мы не знаем, как они это делают. Годами они растут, не обращая на нас никакого внимания, на лугах, в лесах, на берегах рек – обо всем этом приятно думать. В жару коровы машут хвостами под кронами; они делают реки такими зелеными, что,

когда камышница⁹⁴ ныряет и выныривает, ожидаешь увидеть ее перья точно такого же цвета. Мне нравится думать о рыбах, неподвижно держащихся против течения, точно натянутые ветром флаги, и о водяных жуках, медленно возводящих купола из ила на дне реки. Мне нравится думать о самом дереве: сперва о непосредственном ощущении сухой древесины, потом о его скрежете во время бури и, наконец, о том, как из него медленно и восхитительно сочится сок. Еще мне нравится думать о том, как зимними ночами оно стоит одно-одинешенек в голом поле, все листья плотно свернуты, все самое нежное скрыто от металлических пуль луны, – лишь голая мачта торчит из земли, а земля все крутится, крутится и крутится ночи напролет. Нравится думать о том, как странно и громко, должно быть, звучит пение птиц в июне; как, должно быть, мерзнут лапки насекомых, когда они с трудом карабкаются по складкам коры; как они греются на солнышке, устроившись на тонком зеленом навесе из листьев, как смотрят прямо перед собой многогранными красными глазками... Одно за другим рвутся волокна под огромным холодным давлением земли, а потом приходит последняя буря, и, падая, самые высокие ветви снова глубоко уходят под землю. Но даже на этом жизнь дерева не кончается: у него еще множество предназначений по всему миру, в спальнях, на кораблях, на мостовых и в комнатах, где муж-

⁹⁴ Камышницы, или водяные курочки, – род водоплавающих птиц семейства пастушковых.

чины и женщины сидят после чая и курят. Это дерево наводит на мирные, полные счастья мысли. Хотела бы я рассмотреть каждую из них в отдельности, но что-то мешает... На чем я остановилась? К чему все это? Дерево? Река? Холмы? Альманах Уитакера? Поля асфodelей? Ничего не помню. Все движется, падает, ускользает, исчезает... Вся материя внезапно вздыбливается. Кто-то стоит надо мной и говорит...

– *Я собираюсь купить газету.*

– *Да?*

– *Хотя толку от них никакого... Ничего не происходит. Будь проклята эта война, черт бы ее побрал! ... И все же не понимаю, почему у нас на стене улитка?*

Ах да, пятно на стене! Это была улитка.

Сады Кью

Кэтрин Мэнсфилд⁹⁵, по-видимому, ссылается на черновик “Садов Кью” в своем письме к Вирджинии Вулф от 23 августа 1917 года: “Да, твоя “Цветочная клумба” очень хороша. Все окутано какой-то тишиной, трепещущим изменчивым светом, и ощущение, будто эти парочки растворяются в сверкающем воздухе, завораживает меня”. Первое упоминание данного рассказа в переписке Вирджинии встречается в письме к Ванессе Белл от 25 июля 1918 года: “Сейчас этот рассказ кажется мне ужасным и не стоящим публикации, но я пришлю его тебе, если хочешь, – подумала, что я, возможно, смогу его переделать. В Эшеме я собираюсь написать много коротких рассказов и хотела бы попросить тебя рассмотреть возможность их иллюстрирования” (см. ВВ-П-П, № 947). В письмах от 1 июля, 8 июля и 7 ноября Вирджиния снова упоминает иллюстрации Ванессы к “Садам Кью”. В итоге этот рассказ был опубликован издательством “Hogarth Press” 12 мая 1919 года с двумя гравюрами Ванессы. Второе издание вышло в июне того же года, а третье – в ноябре 1927 года. Каждая из 22 страниц третьего издания содержит красивые иллюстрации Ванессы Белл.

⁹⁵ Кэтрин Мэнсфилд (1888–1923) – английская писательница родом из Новой Зеландии.

Рассказ был включен в сборники ВВ-ПЛВ и ВВ-ДП, а на русском языке его издавали под названием "Королевский сад". Сохранилась недатированная машинопись с рукописными правками, в основном стилистическими. Ниже представлен перевод наиболее полного текста, а один абзац, заключенный в квадратные скобки, не был вычеркнут из машинописи и, возможно, по ошибке пропущен в публикациях.

Из овальной клумбы поднималось около сотни стеблей, на середине которых расходились сердцевидные или языкообразные листья, а на верхушках разворачивались красные, синие и желтые лепестки, испещренные выпуклыми цветными пятнышками; а из темной сердцевины красных, синих или желтых цветков поднимался прямой стержень, шероховатый от золотой пыльцы и слегка булавовидный на конце. Лепестки были достаточно объемными, чтобы колыхаться от летнего ветерка, а когда они шевелились, красный, синий и желтый свет наплывал один на другой, окрашивая дюйм бурой земли внизу пятном сложнейшего цвета. Свет падал то на гладкую серую поверхность гальки, то на раковину улитки с ее коричневыми круговыми прожилками, а порой, ударяя в дождевую каплю, так ярко вспыхивал красным, синим и желтым в пределах ее тонких стенок, что они, казалось, вот-вот лопнут, а капля исчезнет. Вместо этого она вновь становилась серебристо-серой, а свет уже падал на мякоть листа, обнажая ветвистую сеть жилок под поверхностью, и, двига-

ясь дальше, разливался по зеленым просторам под куполами сердцевидных или языкообразных листьев. Затем ветерок подул сильнее и взметнул в воздух яркие краски, бликующие в глазах мужчин и женщин, гуляющих в июле по Садам Кью.

Фигуры этих мужчин и женщин тянулись мимо клумбы каким-то причудливым неровным строем, почти как бело-голубые бабочки, которые зигзагами перелетали с клумбы на клумбу. Мужчина шел примерно в шести дюймах впереди женщины, небрежной походкой, в то время как она двигалась более целеустремленно и только иногда оборачивалась, чтобы посмотреть, не слишком ли отстали дети. Мужчина держался впереди намеренно, хотя, быть может, и неосознанно, ибо хотел предаться своим размышлениям.

«Пятнадцать лет назад я пришел сюда с Лили, – думал он. – Мы сидели где-то там, у озера, и я в тот жаркий полдень умолял ее выйти за меня замуж. Помню, над нами кружила стрекоза; как ясно я помню и стрекозу, и туфлю с квадратной серебряной пряжкой у мыска. Делая предложение, я все время смотрел на туфлю, и когда Лили от нетерпения шевелила ею, я знал, не поднимая взгляда, что она мне ответит; казалось, вся она была в этой туфле. А моя любовь, мое желание – в стрекозе; почему-то мне казалось, что, если она сядет вон там, на широкий лист с красным цветком посередине, Лили тут же ответит “да”. Но стрекоза все кружила и кружила; она так нигде и не села – ко-

*нечно, нет; с счастьем, нет, иначе я бы не гулял здесь с Эли-
нор и детьми...»*

*– Скажи мне, Элинор. Ты когда-нибудь думаешь о про-
шлом?*

– А почему ты спрашиваешь, Саймон?

*– Потому что я как раз думал о прошлом. Думал о Лили,
о той женщине, на которой мог бы жениться... Что же ты
молчишь? Ты не против, что я думаю о прошлом?*

*– Почему я должна быть против, Саймон? Разве не все
думают о прошлом в саду, где мужчины и женщины отды-
хают в тени деревьев? Не это ли наше прошлое, все, что от
него осталось, эти мужчины и женщины, эти призраки под
деревьями... наше счастье, наша действительность?*

*– Для меня – квадратная серебряная пряжка туфли и
стрекоза...*

*– А для меня – поцелуй. Представь, как двадцать лет на-
зад шесть маленьких девочек сидели перед мольбертами на
берегу озера и рисовали кувиинки, я тогда впервые увидела
красные кувиинки. И вдруг поцелуй, вот так, сзади в шею.
И весь оставшийся день рука моя тряслась так, что я не
могла рисовать. Я доставала часы и отмечала время, когда
позволю себе думать о поцелуе, причем всего пять минут, –
как он был дорог мне, этот поцелуй седовласой старушки с
бородавкой на носу, матери всех моих поцелуев за всю мою
жизнь. Кэролайн, Хьюберт, идемте.*

Они миновали клумбу и пошли дальше уже вчетвером,

и вскоре стали совсем маленькими и полупрозрачными на фоне деревьев, среди всполохов света и теней, которые проплывали по их спинам большими трепещущими пятнами.

На овальной цветочной клумбе улитка, чью раковину минуты на две окрасило в красный, синий и желтый тона, теперь слегка пошевелилась в своем панцире и медленно поползла по комкам рыхлой земли, которые то и дело откалывались и катились вниз под тяжестью улитки. Похоже, перед ней была определенная цель, что отличало ее от необычного, крупного и угловатого зеленого насекомого, которое попыталось было пересечь улитке путь, застыло на мгновение, пошевелило усиками, словно в раздумье, как вдруг так же резко и странно метнулось в противоположном направлении. Бурые скалы над глубокими впадинами зеленых озер; плоские, словно клинки, деревья, извивающиеся от корней до верхушек; круглые валуны из серого камня, обширные поверхности тонкой мятой хрустящей ткани – все это лежало на пути улитки от одного стебля к другому, на пути к цели. Не успела она решить, обойти ей свернувшийся куполом сухой лист или же двинуться напролом, как возле клумбы раздались шаги других людей.

На сей раз это были двое мужчин. На лице младшего из них застыло выражение, пожалуй, даже чрезмерного спокойствия; он поднимал взгляд и пристально смотрел перед собой, пока говорил его собеседник, а едва тот умолкал, опускал глаза и лишь после долгой паузы что-то отвечал, а по-

рой и вовсе молчал. У мужчины постарше была странная, неровная и шаткая походка: он резко выбрасывал вперед руку и вскидывал голову, как нетерпеливая лошадь извозчика, уставшая ждать у дома, вот только у мужчины эти жесты были нерешительными и бессмысленными. Говорил он почти без умолку, улыбался сам себе и продолжал болтать дальше, словно улыбка и была ответом. Он говорил о духах – душах умерших, которые, по его словам, даже сейчас рассказывали ему всякие странные вещи о своем пребывании в Раю.

– Древние, Уильям, называли Раем Фессалию⁹⁶, а теперь, из-за этой войны, материя духа носится меж холмов, словно раскаты грома. – Он сделал паузу, будто прислушиваясь, улыбнулся, дернул головой и продолжил: – Берешь маленькую электрическую батарейку и кусок резины для изоляции провода – отделения? – изоляции? – ладно, это все мелочи, не будем вдаваться в подробности, которые все равно не поймут, – короче говоря, устанавливаешь приборчик в любом удобном месте у изголовья кровати, скажем, на изящной тумбочке из красного дерева. Когда рабочие под моим руководством все как следует установят, вдова прикладывает к прибору ухо и вызывает духа знаком, как условлено. Женщины! Вдовы! Женщины в черном...

Тут он, по-видимому, заметил вдалеке женское платье, которое в тени показалось ему лилово-черным. Он снял шляпу, положил руку на сердце и поспешил к ней, что-то

⁹⁶ Древняя Фессалия – исторический регион на северо-востоке Греции.

бормоча и лихорадочно жестикулируя. Однако Уильям ухватил его за рукав и кончиком своей трости коснулся цветка, чтобы отвлечь внимание старика. Тот с минуту глазел на бутон в каком-то смятении, затем поднес ухо и, казалось, стал отвечать на доносившийся из него голос, начав рассказывать о лесах Уругвая, где он путешествовал сотни лет назад в компании красивейшей женщины Европы. Долго еще слышалось его бормотание о лесах Уругвая, укрытых восковыми лепестками тропических роз, о соловьях и морских пляжах, о русалках и утопленницах, а Уильям уводил его все дальше, и все заметнее на его лице становилось выражение стоического терпения.

Почти вслед за ними – достаточно близко, чтобы жестикуляция старика вызвала легкое недоумение, – шли две пожилые женщины из низов среднего класса: одна – полная и грузная, вторая – румяная и бойкая. Как и большинство людей их происхождения, этих женщин явно завораживали всяческие проявления эксцентричности, свидетельствующие о помутнении рассудка, особенно у зажиточных людей, но они все же были слишком далеко, чтобы с уверенностью сказать, просто эксцентричны или действительно безумны жесты старика. Некоторое время они молча разглядывали старика со спины и лукаво переглядывались, а затем рьяно продолжили выстраивать свой сложный диалог:

– Нелл, Берт, Лот, Сесс, Фил, папа, он говорит, я говорю, а она говорит, а я, а я, а я...

– *Мой Берт, сестренка. Билл, дедушка, старик, сахар*
Сахар, мука, селедка, зелень,
Сахар, сахар, сахар.

[В горячем неподвижном воздухе они складывали вокруг себя мозаику из этих людей и товаров, и каждая решительно вносила в узор свой вклад, не отрывая от него взгляда, не обращая никакого внимания на те разноцветные фрагменты, которые так настойчиво впихивала на свои места подруга. И все же в этом соревновании – не то из-за количества родственников, не то из-за большей беглости речи – победила худенькая, а грузная поневоле смолкла. И та продолжила:

– *Нелл, Берт, Лот, Сесс, Фил, папа, он говорит, я говорю, а она говорит, а я, а я, а я...*]

Полная женщина с недоумением смотрела сквозь пестрый узор из летящих слов на цветы, прохладные, стойкие и прямо растущие из земли. Она видела их так же, как человек, только что очнувшийся от глубокого сна, видит медный подсвечник, непривычно отражающий свет; он закрывает и открывает глаза, снова видит подсвечник и, наконец, полностью просыпается и смотрит на него не моргая. Так и полная женщина остановилась напротив овальной клумбы и перестала даже притворяться, будто слушает спутницу. Слова летели мимо, а она стояла там, медленно покачивая верхней частью тела вперед и назад, и смотрела на цветы. Потом она предложила найти удобное место и выпить чаю.

Улитка уже обдумала всевозможные пути достижения це-

ли, не обходя сухой лист и не перелезая через него. Не говоря уже об усилиях, необходимых для того, чтобы взобраться на него, улитка сомневалась, выдержит ли ее вес тонкая структура, которая угрожающе вибрировала и потрескивала при малейшем прикосновении рогов. Это окончательно решило дело в пользу пути под листом: в одном месте тот выгибался над землей достаточно высоко, чтобы пропустить ее. Улитка как раз просунула голову в отверстие и осматривала высокую бурую крышу, понемногу привыкая к прохладному коричневому полумраку, когда мимо по траве прошли еще двое людей. На сей раз оба молодые – молодой человек и девушка. Оба в расцвете юности или даже в том возрасте, который предшествует расцвету, когда гладкие розовые складки цветка еще не прорвали клейкую оболочку, когда крылья бабочки, хотя и полностью сформировались, еще неподвижно греются на солнце.

– *Повезло, что сегодня не пятница*, – заметил он.

– *Почему? Ты веришь в удачу?*

– *По пятницам за вход берут шесть пенсов.*

– *Ну и что? Разве это не стоит шести пенсов?*

– *Что “это” – что ты имеешь в виду?*

– *Ну, все – в общем, ты понимаешь.*

Все эти реплики сопровождались долгими паузами; все они произносились монотонно, без выражения. Оба говоривших замерли у края клумбы и вместе вдавливали конец ее зонтика глубоко в мягкую землю. Это действие и то, что

его рука лежала поверх ее, странным образом выражали их чувства, равно как и короткие незначительные реплики – слова с короткими крылышками и тяжелым телом значений, неспособные унести его далеко, поэтому они неловко приземлялись на самые обычные предметы вокруг и неопытному прикосновению казались слишком массивными, но кто знает (так они думали, вдавливая зонтик в землю), какие глубины сокрыты в них и какие ледяные склоны сверкают на солнце по ту сторону?! Кто знает? Видел ли кто-нибудь нечто подобное? Даже когда она поинтересовалась, какой чай подают в Кью, он почувствовал, что за ее словами скрывается, вырисовывается нечто огромное и незыблемое, и вот туман очень медленно рассеялся, обнажив – о боги, что же там? – маленькие белые столики и официанток, которые посмотрят сначала на нее, потом на него и подадут счет, который он оплатит настоящей монетой в два шиллинга, и все это по-настоящему, все взаправду, уверял он себя, нащупывая монету в кармане, по-настоящему для всех, кроме них двоих; даже ему это стало казаться настоящим, а потом – нет, слишком волнительно вот так стоять и просто думать, и он рывком выдернул зонтик из земли, ему не терпелось поскорее найти место, где можно выпить чаю с другими людьми, со всеми, как все.

– Пойдем, Трисси, пора пить чай.

– Где же здесь выпить чаю? – спросила она дрожащим от волнения голосом, рассеянно оглядываясь по сторонам и

позволяя увлечь себя вперед по зеленой дорожке, волоча за собой зонтик, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, забыв про чай, порываясь пойти то туда, то сюда, вспоминая про орхидеи и журавлей среди полевых цветов, про китайскую пагоду и птицу с малиновым хохолком, но он увлекал ее за собой.

Так, двигаясь беспорядочно и бесцельно, одна пара за другой проходила мимо клумбы и окутывались слой за слоем зелено-голубой дымкой, в которой сначала их тела обладали материальностью и цветом, а затем теряли их и полностью растворялись в зелено-голубом мареве. Как же было жарко! Так жарко, что даже дрозд, словно заводная птица, прыгал в тени цветов, надолго замирая между прыжками; вместо того чтобы бесцельно порхать, белые бабочки кружились одна над другой, создавая своими белыми трепещущими крыльями очертания раздробленной мраморной колонны над самыми высокими цветами; стеклянные крыши пальмовой оранжереи сверкали так, словно на залитой солнцем площади раскинулся целый рынок блестящих зеленых зонтиков, а в гуле аэроплана голос летнего неба рокотал о своей неистовой душе. Желтые и черные, розовые и белоснежные, силуэты мужчин, женщин и детей на мгновение вспыхивали на горизонте, а затем, увидев широкую желтую полосу света на траве, колебались и искали тень под деревьями, растворяясь, словно капли воды, в желто-зеленом мареве, добавляя в него немного красного и синего. Казалось, все крупные и тяжелые

тела придавлены жаром к земле и прижаты друг к другу, но голоса их дрожали, словно язычки пламени на толстых восковых свечах. Голоса. Да, голоса. Бессловесные голоса, которые внезапно разрывают тишину с таким глубоким удовольствием, с такой жгучей страстью или, если это голоса детей, с таким искренним удивлением; разрывают тишину? Но никакой ведь тишины не было; все это время моторные omnibuses вращали колесами и переключали скорости; словно скрежет механизмов огромных китайских шкатулок из кованой стали, помещенных одна в другую, был слышен рокот города, а над ним разносился гул голосов, и бесчисленные лепестки цветов вспыхивали в воздухе своими огнями.

Вечерний прием

И стиль, и внешний вид машинописи данного рассказа позволяют предположить, что он относится к тому периоду, когда Вирджиния писала произведения, включенные в сборник ВВ-ПЛВ. Ее упоминание в письме от 26 июля 1918 года “рассказа о вечеринке” (см. ВВ-П-П, № 953), вероятно, относится к “Вечернему приему”. Альтернативную версию вступительной части, также названную “Вечерний прием”, см. в Приложении 2. Профессор из рассказа, возможно, является предшественником персонажа профессора Брайели, “специалиста по Мильтону”, который ненадолго появляется в романе “Миссис Дэллоуэй”.

Возможно, в 1925 году Вулф подумывала переработать текст; 6 января она отметила в дневнике, что среди ее задумок, “коротких сценок”, есть «“Профессор, специалист по Мильтону” (попытка критики), а теперь еще “Вторжение” – женщины разговаривают наедине» (см. ВВ-Д-III). В заметках к рассказам, сделанных ею 6 и 14 марта 1925 года, есть упоминания “профессора Брайели” и рассказа, “захватывающего и почти полностью состоящего из одних диалогов”, и они также могут относиться к “Вечернему приему”.

Существует два недатированных машинописных черновика, оба с рукописными правками. Вирджиния включила во

второй черновик почти все правки, сделанные в первом, в котором название “Вечерний прием” изменено на “Разговорный прием”. Оригинальное название фигурирует на титульном листе второго черновика.

Ах, но давайте немного подождем! Взошла луна, небо распахнулось, а там, на фоне неба, холмом поднимается земля. Струящиеся серебристые облака смотрят вниз на волны Атлантики. Мягкий ветер обдувает угол улицы, приподнимает мой плащ, бережно держит его в воздухе, потом дает ему опуститься и поникнуть, подобно морю, которое то вздымается и переливается через скалы, то снова отступает. Улица почти пуста; на окнах опущены жалюзи; желтые и красные стекла океанских лайнеров на мгновение роняют пятно на плывущую синеву. Ночной воздух сладок. Служанки мешкают возле почтового ящика или медлят в тени стены, где дерево осыпается темным ливнем цветов. Так на коре яблони трепещут мотыльки, вытягивая сладкий сок черной нитью хоботка. Где мы? В каком доме может проходить прием? Все эти дома с розовыми и желтыми окнами ничего не говорят. Ах, за углом, в середине, там, где дверь стоит открытой, – но подождите минутку. Давайте посмотрим, как люди – один, второй, третий – слетаются на свет, будто мотыльки бьются о стекло фонаря, стоящего в темноте. Вот и кэб несется к этому дому. Выходит бледная пышная дама, спешит внутрь; джентльмен в черно-белом вечернем костюме расплачивает-

ся с извозчиком и следует за ней, словно тоже торопится. Идемте, а то опоздаем.

На каждом стуле – мягкий холмик; бледные завитки газа лежат на ярком шелке; свечи горят грушевидным пламенем по обе стороны овального зеркала; щетки из тонкого черепахового панциря; граненые флаконы с серебряными крышечками. Неужели здесь всегда так – не в этом ли и суть – дух? Что-то растворило мое лицо. Сквозь серебристую дымку от свечей оно едва различимо. Люди проходят мимо, не замечая меня. У них есть лица. В них словно звезды сияют сквозь розовую плоть. Комната полна ярких, но бесплотных фигур; они стоят у книжных полок, уставленных бесчисленными томиками; головы и плечи заслоняют углы квадратных позолоченных картинных рам; а их массивные и гладкие, как у мраморных статуй, тела сгрудились у чего-то столь же серого, бурного и блестящего, как вода за незашторенными иллюминаторами.

– *Проходите в уголок и поговорим.*

– *Замечательно! Замечательные представители человечества! Духовные и замечательные!*

– *Но их не существует. Разве вы не видите пруд за головой профессора? Разве вы не видите лебедя, проплывающего за юбкой Мэри?*

– *Я представляю себе маленькие огненные розы, украшающие их.*

– *Маленькие огненные розы похожи на светлячков, усы-*

нависших глицинии, которые мы вместе видели во Флоренции, – парящие атомы огня, горящие в полете светлячки – горящие, но не думающие.

– Горящие, но не думающие. Равно как и все книги позади нас. Вот Шелли⁹⁷, вот Блейк⁹⁸. Подбросьте их вверх и смотрите, как стихи опускаются вниз, словно золотые парашюты, мерцая, кружась и осыпаясь дождем из цветов в форме звезд.

– Мне процитировать вам Шелли? “Уходи! Потемнела равнина...”⁹⁹

– Подождите, подождите! Не сгущайте нашу прекрасную атмосферу до капель дождя, падающих на мостовую. Давайте еще подышим огненной пылью.

– Светлячки в цветках глицинии.

– Бессердечно, я согласна с вами. Но взгляните, какие чудесные бутоны нависают над головой; какие огромные люстры, золотые и пурпурные, свисают с неба. Разве вы не чувствуете, как тонкая позолота окрашивает наши бедра, когда мы входим, и как сизые стены размываются и трепещут вокруг нас, когда мы все глубже и глубже ныряем в лепестки, или же, наоборот, становятся тугими, как барабан?

– К нам приближается профессор.

⁹⁷ Перси Биш Шелли (1792–1822) – английский писатель, поэт и эссеист.

⁹⁸ Уильям Блейк (1757–1827) – английский поэт, художник и гравер.

⁹⁹ Из стихотворения Перси Шелли «Стансы» (в пер. К.Д. Бальмонта).

– Скажите нам, профессор...

– Мадам?

– Как вы считаете, нужно ли соблюдать грамматику? И пунктуацию. Вопрос о запятых Шелли мне чрезвычайно интересен.

– Давайте присядем. По правде говоря, открытые окна после заката – стою к ним спиной – разговор, конечно приятен... Вы спросили о запятых Шелли. Довольно важный вопрос. Вон там, немного правее от вас. Оксфордское издание. Мои очки! Наказание за вечерний наряд! Без них не решаюсь читать... К тому же запятые... Современный шрифт безобразен. Создан в угоду убогой современности; признаться, я не нахожу ничего восхитительного в современности.

– Я с вами полностью согласна.

– И что? Я боялся несогласия. В вашем-то возрасте, в вашем... наряде.

– Сэр, я не нахожу ничего достойного восхищения у древних. Эти классики: Шелли, Китс¹⁰⁰, Браун¹⁰¹, Гиббон¹⁰² – есть ли хоть одна страница, которую можно процитировать целиком, хоть один абзац, хоть одно предложение, которое не исправило бы перо Бога или человека?

¹⁰⁰ Джон Китс (1795–1821) – поэт младшего поколения английских романтиков.

¹⁰¹ Томас Браун (1605–1682) – английский медик, один из крупнейших мастеров английской прозы эпохи барокко, автор эссе на оккультно-религиозные и естественнонаучные темы.

¹⁰² Эдуард Гиббон (1737–1794) – английский историк и мемуарист.

– Тсс-с-с, мадам. Ваше возражение весомо, но ему недостает рассудительности. Кроме того, ваш выбор классиков – какой духовный аспект позволяет вам соотнести Шелли и Гиббона? Разве что их атеизм... Но ближе к делу. Идеальный абзац, идеальная фраза; хм, моя память... да еще и очки, оставленные на каминной полке. Я заявляю. Но ваша критика относится к самой жизни.

– Конечно, сегодня вечером...

– Перу человека, представляется мне, не составило бы труда переписать все это. Открытое окно – сквозняк... И позвольте мне вам на ушко передать разговор этих дам, искренних и благожелательных, с возвышенными взглядами на судьбу негра, который прямо сейчас трудится под плетью, чтобы добыть каучук для некоторых наших друзей, ведущих здесь приятную беседу. Наслаждаться вашим совершенством...

– Я поняла вашу мысль. Нужно исключить...

– Большую часть всего.

– Но чтобы доказать это, мы должны докопаться до самой сути, ибо мне представляется, что ваша вера – всего-навсего одна из тех увядающих анютиных глазок, которые покупают и сажают на ночь перед праздником, а наутро обнаруживают увядшими. Вы утверждаете, что Шекспира надо исключить?

– Мадам, я ничего не утверждаю. Эти дамы вывели меня из себя.

– Они доброжелательны. Они разбили свой лагерь на берегу одного из мелких притоков реки, откуда, нарвав тростника и обмакнув его в яд, с растрепанными волосами и желтоватой кожей они время от времени возвращаются, чтобы всадить его в бок тому, кто всем доволен; вот их доброжелательность.

– Их стрелы ранят. А еще ревматизм...

– Профессор уже ушел? Бедный старик!

– Но как в свои-то годы он умудряется обладать тем, что мы теряем уже сейчас? Я имею в виду...

– Да?

– Вспомните, как в раннем детстве, когда вы играли или разговаривали, перешигивали через лужу или подходили к окну на лестничной площадке, какое-то неуловимое потрясение заставляло мир застыть, превращая его в твердый хрустальный шар, и он на мгновение оказывался у вас в руках. У меня даже было некое мистическое убеждение, будто прошлое и будущее, слезы и растертый в прах пепел поколений также сгустились в шар; тогда мы были совершенны и целостны; все казалось возможным; это и составляло уверенность – счастье. Но потом хрустальные шары растворяются прямо в руках; кто-то говорит о неграх. Видите, что получается, когда пытаешься выразить свои мысли! Чепуха!

– Именно. Но какая же это печальная штука – здравый смысл! Сколько же отречения он воплощает! Прислушай-

тесь на мгновение. Различите один из голосов. Вот. “Как вам, должно быть, холодно здесь после Индии. После семи-то лет. Но привычка – это наше все”. Это и есть голос здравого смысла. Согласие. Они устремили свои взоры на нечто, что видят все. Они больше не пытаются разглядеть искорку света, маленькую фиолетовую тень, которая может оказаться плодородной землей на горизонте или всего-навсего отблеском на воде. Это все компромисс – безопасность, взаимодействие людей. Поэтому мы ничего не открываем; мы перестаем исследовать; мы перестаем верить, будто есть что открывать. “Чепуха”, скажете вы, имея в виду, что я не увижу ваш хрустальный шар, а мне даже стыдно пытаться.

– Речь – это старая рваная сеть, из которой рыба ускользает, стоит только забросить ее. Возможно, лучше молчать. Давайте попробуем. Подойдем к окну.

– Странная штука – тишина. Разум становится похож на беззвездную ночь, а потом прямо сквозь темноту проплывает великолепный метеор и гаснет. Мы выражаем недостаточно благодарности за это удовольствие.

– Ах, какие же мы неблагодарные! Когда я смотрю на свою руку, лежащую на подоконнике, и думаю о том, сколько же удовольствия она принесла, когда касалась шелка, керамики и горячих стен, когда лежала на мокрой траве или грелась на солнце, когда пропускала сквозь пальцы воду Атлантики, собирала колокольчики и нарциссы, срывала спе-

лые сливы и ни на секунду с момента моего рождения не переставала сообщать мне о жаре и холоде, сырости и сухости, — я поражаюсь, что должен писать хулу на жизнь посредством столь чудесного сплетения плоти и нервов. Но именно это мы и делаем. Если так рассудить, литература — это летопись нашей неудовлетворенности.

— Знак нашего превосходства, нашего притязания на предпочтение. Признайтесь, вам больше по душе неудовлетворенные люди.

— Мне нравится меланхолический шум далекого моря.

— Что это за разговоры о меланхолии на моем приеме? Конечно, если вы продолжите стоять в углу и шептаться... Нет, пойдете, я вас представлю. Это мистер Невилл, которому нравится ваша литература.

— В таком случае — добрый вечер.

— В каком-то журнале, но я не помню точно, был какой-то ваш текст — я забыл название статьи — или это был рассказ? Вы пишете рассказы? Но не стихи, верно? Так много друзей, и каждый день появляется что-то новое, что... что...

— Никто не читает.

— Что ж, пускай это звучит невежливо, но я, если честно, весь день занят делами крайне неприятного или довольно утомительного характера, и то время, которое у меня остается на литературу, я провожу с...

— Мертвыми.

– Я чувствую иронию в вашем замечании¹⁰³.

– Зависть, а не иронию. Смерть имеет колоссальное значение. Как и французы, мертвые прекрасно пишут, их есть за что уважать, и в то же время, при всем нашем равенстве, чувствуешь, что они старше и мудрее, как наши родители; отношения между живыми и мертвыми, несомненно, самые благородные.

– Ах, если вы так считаете, давайте поговорим о мертвых. Лэм¹⁰⁴, Софокл, де Квинси¹⁰⁵, сэр Томас Браун.

– Сэр Вальтер Скотт¹⁰⁶, Мильтон, Марло¹⁰⁷.

– Патер, Теннисон¹⁰⁸.

– Сейчас, сейчас, сейчас.

– Теннисон, Патер.

– Заприте дверь, задерните шторы, чтобы я видел только ваши глаза. Я падаю на колени. Я закрываю лицо руками. Я обожаю Патера. Я восхищаюсь Теннисоном.

¹⁰³ В первом черновике использовано слово «прерывание», а не «замечание».

¹⁰⁴ Чарльз Лэм (1775–1834) – поэт, публицист и литературный критик эпохи романтизма.

¹⁰⁵ Томас де Квинси (1785–1859) – английский писатель, эссеист, автор знаменитой автобиографической книги «Исповедь англичанина, любителя опиума» (1822).

¹⁰⁶ Вальтер Скотт (1771–1832) – шотландский прозаик, поэт, историк, адвокат.

¹⁰⁷ Кристофер Марло (1564–1593) – английский поэт, переводчик и драматург-трагик елизаветинской эпохи, наиболее выдающийся из предшественников Шекспира.

¹⁰⁸ Альфред Теннисон (1809–1892) – писатель, любимый поэт королевы Виктории.

– Дочь, продолжай.

– Легко признаваться в собственных недостатках. Но какая темнота способна скрыть достоинства? Я люблю, я обожаю – нет, я не могу передать, что за роза поклонения моя душа – имя трепещет на моих губах – Шекспира.

– Я дарю вам отпущение грехов.

– И все же: как часто люди читают Шекспира?

– Как часто летняя ночь безупречна, всходит луна, меж звездами глубокие, словно Атлантика, пространства, а сквозь сумерки проступают белые розы? Разум до чтения Шекспира...

– Летняя ночь. О, вот как надо читать!

– Розы кивают...

– Волны разбиваются...

– Над полями струятся те странные предрассветные ветры, которые просачиваются в дверные щели и стихают...

– Потом, когда ложишься спать, кровать...

– Лодка! Лодка! Над морем всю ночь напролет...

– А когда садишься в постели, звезды...

– В одиночестве посреди океана плывет наша маленькая лодка, одинокая, но стойкая, влекомая силой северного сияния, невредимая, окруженная водой, тающая там, где ночь ложится на воду; она уменьшается и исчезает, и мы, погруженные в воду, застывшие, словно гладкие камни, вновь распахиваем глаза; тире, итрих, точка, клякса, мебель в спаль-

не и треск шторы на карнизе – я зарабатываю на жизнь. Представьте меня! О, он знал моего брата в Оксфорде.

– И вас тоже. Выходите в центр комнаты. Вот человек, который вас помнит.

– Ребенком, дорогая. На вас было розовое платье.

– Меня укусила собака.

– Это было так опасно – бросать палки в море. Но ваша матушка...

– На пляже, у навеса...

– Сидела и улыбалась. Она любила собак. Вы знаете мою дочь? Это ее муж. Пса звали Трэй? Большой каштановый, и был еще один поменьше, который укусил почтальона. Теперь вспоминаю. Чего только не вспомнишь! Но я предостерегаю...

– О, прошу (да-да, я написала, я иду), прошу, прошу... Черт бы тебя побрал, Хелен, что ты перебиваешь! Вот она уходит, никогда не вернется, протискивается сквозь толпу, укутывается в шаль, медленно спускается по ступеням – ушла! Прошлое! Прошлое!

– Ах, послушайте же. Скажите мне; я боюсь; столько незнакомцев; у кого-то бороды; некоторые такие красивые; она коснулась пиона, все лепестки опали. И женищина со свирепым взглядом. Армяне гибнут. И каторга. Почему? И такая болтовня; только теперь – шепотом – мы все должны говорить шепотом – слушаем мы – или ждем – но чего? Фонарик загорелся! Берегите кисею! Однажды погибла женищи-

на. Говорят, это разбудило лебедя.

– Хелен боится. Эти бумажные фонарики воспламеняются, а окна открыты, и ветерок развевает оборки. Но я не боюсь пламени, вы же знаете. Меня пугает сад – то есть мир. Он меня пугает. Эти маленькие огоньки подсвечивают круги на земле – холмы и города; есть еще тени; колышется сирень. Хватит стоять и говорить. Давайте уйдем. Через сад, ваша рука в моей.

– “Уходи! Потемнела равнина...” Уходим! Мы двинемся им навстречу, этим волнам тьмы с гребнями деревьев, вечно вздымающимися, одинокими и темными. Огни поднимаются и опускаются; вода невесомая, как воздух; над ней луна. Ты тонешь? Ты всплываешь? Ты видишь острова? Наедине со мной.

Реальные предметы

26 ноября 1918 года Вирджиния Вулф описала Ванессе Белл начало рассказа “Реальные предметы”, над которым она, по ее словам, только начала работать (см. ВВ-П-П, № 990). Рассказ был опубликован в “*Athenaeum*”¹⁰⁹ от 22 октября 1920 года. Вскоре после публикации Вирджиния поблагодарила Хоуп Миррлиз¹¹⁰ за похвалу и добавила: “Он был написан слишком быстро, но я подумала, что с точки зрения способа повествования в нем что-то есть...” (см. ВВ-П-П-VI, № 1148a). Рассказ был включен в сборник ВВ-ДП.

На огромном полукруглом пляже двигалось только маленькое черное пятнышко. По мере его приближения к острову выброшенной на мель лодки для ловли сардин¹¹¹ у этого пятна появились четыре ноги, и постепенно стало ясно, что они принадлежат двум молодым людям. Даже просто в очертании силуэтов на фоне песка безошибочно угадывалась жизненная сила; неопишуемая энергия, с которой их те-

¹⁰⁹ Английский литературный журнал, основанный в 1828 году.

¹¹⁰ Хелен Хоуп Миррлиз (1887–1978) – английская романистка, поэтесса и переводчица.

¹¹¹ В своих ранних дневниках ВВ подробно описывает ловлю сардин с помощью нескольких лодок и невода в Сент-Айвсе (см. ВВ-Д-0, 14 августа 1905 г.).

ла то сближались, то отдалялись друг от друга, пускай и едва заметно, свидетельствовала о каком-то яростном споре и аргументах, вылетающих из крошечных ртов их маленьких круглых голов. С приближением это впечатление подтвердилось многократными выпадами трости с правой стороны. «Ты хочешь сказать мне... Ты действительно веришь...» – так, казалось, утверждала трость с правой стороны, вычерчивая на песке возле прибоя длинные прямые полосы.

«*Политика, будь она проклята!*» – отчетливо донеслось от собеседника слева, и по мере разговора стали различимы их рты, носы, подбородки, короткие усики, твидовые кепки, тяжелые башмаки, пальто и клетчатые гетры; дым их трубок поднимался вверх; на многие мили морской воды и песчаных дюн не было ничего более реального, живого, плотного, краснолицего, волосатого и мужественного, чем эти два тела.

Оба они плюхнулись на песок возле шести ребер и хребта черной лодки. Представьте, как тело расслабляется после спора и словно извиняется за недавнее возбуждение; плюхаясь, оно своей вальяжностью демонстрирует готовность заняться чем-то новым, что бы ни подвернулось под руку. Так Чарльз, чья трость рассекала пляж на протяжении примерно полумили, начал запускать плоские кусочки сланца по воде, а Джон, воскликнувший «*политика, будь она проклята!*», запустил пальцы в песок. По мере того как рука погружалась все глубже и глубже – по самое запястье, так что пришлось засучить рукав, – взгляд Джона стал рассеянным, вернее,

фоновые мысли и переживания, придающие взгляду взрослого человека неуловимую сосредоточенность и глубину, постепенно исчезли, оставив лишь незамутненную прозрачную поверхность глаз, не выражающих ничего, кроме удивления, свойственного детям. Несомненно, это было как-то связано с самим актом рытья. Он помнил, что если рыть дальше, то под кончиками пальцев начнет сочиться вода, и тогда яму можно будет превратить в ров, колодец, источник, тайный канал, ведущий к морю. Пока Джон выбирал, во что же превратить ямку, пальцы, не прекращая работы в воде, обхватили нечто плотное – кусок твердой субстанции неправильной формы – и вытащили это наружу. Под налетом песка показалась зеленая поверхность. Это был кусок стекла, толстый и оттого почти непрозрачный; море сгладило все грани и стерло форму, так что не представлялось возможным определить, было оно бутылочным, фужерным или оконным – просто стекло, почти что драгоценный камень. Стоило заключить его в золотую оправу или проткнуть проволокой, и стекло тотчас стало бы драгоценным камнем, частью ожерелья или тускло-зеленым огоньком на пальце. Возможно, в конце концов, это и впрямь драгоценный камень, принадлежавший темноволосой принцессе, которая сидела, опустив пальцы в воду, на корме и слушала пение рабов, переправлявших ее на галере через залив. Или, быть может, дубовые стенки затонувшего елизаветинского сундука с сокровищами разошлись, и, столетиями полоща их, море наконец-то выбросило изумруды

на берег. Джон повертел стекло в руках, поднес его к свету, поднял так, что бесформенная масса заслонила тело и вытянутую правую руку друга. Зеленый цвет то светлел, то сгущался, в зависимости от того, что служило фоном – небо или Чарльз. Джону это понравилось, но в то же время озадачило его; предмет был такой твердый, плотный и определенный в сравнении с расплывчатым морем и туманным берегом.

Внезапно его отвлек вздох Чарльза, глубокий, прощальный, вызванный тем, что он перекидал в воду все плоские камни, до которых мог дотянуться, или же понял, что это бессмысленное занятие. Сидя бок о бок, они съели свои сэндвичи. Затем, когда встали и отряхнулись, Джон взял кусок стекла и молча смотрел на него. Чарльз тоже посмотрел. Однако он сразу отметил, что стекло не плоское и, набивая трубку табаком, с особым напором, которым отгоняют глупые мысли, сказал:

– Возвращаясь к тому, о чем я говорил...

Он не заметил, а если бы и заметил, то не придал бы никакого значения, что Джон мгновение смотрел на кусок стекла, словно не решаясь, а потом быстро сунул его в карман. Возможно, это был тот самый порыв, который побуждает ребенка подбирать один из камешков на усыпанной ими дороге, обещая ему жизнь в тепле и безопасности на каминной полке в детской, упиваясь ощущением власти и милосердия, сопровождающим подобные действия, и веря, что сердечко камешка трепещет от счастья, когда он чувствует себя избран-

ным из миллиона подобных камней и получает возможность наслаждаться жизнью, вместо того чтобы вечно прозябать в холоде и сырости на дороге. *«На моем месте могли быть миллионы других камней, но выбрали-то меня, меня, меня!»*

Независимо от того, была у Джона подобная мысль или нет, кусок стекла занял место на каминной полке, поверх небольшой стопки счетов и писем, где служил не только отличным пресс-папье, но и местом, где останавливался взгляд молодого человека, когда тот отрывался от книги. Любой предмет, на который мы снова и снова невольно обращаем внимание, когда о чем-то задумываемся, настолько сильно смешивается с субстратом наших мыслей, что теряет истинную форму и обретает другую, идеальную, порой всплывающую в голове в самый неожиданный момент. Вот и Джон заметил, что во время прогулок его внимание начали привлекать витрины лавок редкостей, просто потому что в глаза бросалось нечто, напоминающее кусок стекла. Это могло быть что угодно – любой предмет, округлый, например, или с глубоко заключенным внутри угасающим огоньком – фарфор, стекло, янтарь, гранит, мрамор и даже гладкое овальное яйцо доисторической птицы. К тому же он стал внимательно смотреть под ноги, особенно вблизи пустырей, куда выбрасывают бытовой мусор. Там часто попадались подобные предметы – брошенные, бесполезные, бесформенные. За несколько месяцев он подобрал четыре-пять экземпляров, которые заняли место на каминной полке. Была от них

и польза, ведь у кандидата в парламент, стоящего на пороге блестящей карьеры, много бумаг, требующих порядка: обращения к избирателям, политические манифесты, просьбы о пожертвованиях, приглашения на ужин и так далее.

Однажды, когда Джон вышел из своего жилья в Темпле, чтобы успеть на поезд и выступление перед избирателями, его взгляд вдруг привлек удивительный предмет, едва заметный в траве одного из тех небольших узких газонов, которые окаймляют огромные здания судебных учреждений. Он мог лишь коснуться его кончиком трости сквозь решетку ограды, но разглядел, что это кусок фарфора, очень похожий на морскую звезду, – не то намеренно ему придали такую изумительную и узнаваемую форму, не то случайно что-то разбили, и получился пятиконечный предмет с неровными, шероховатыми краями. Цвет был преимущественно синим, но поверх него пролегли какие-то зеленоватые полосы или пятна, а малиновые линии придавали куску фарфора особенную яркость и привлекательный блеск. Джон был полон решимости завладеть этим предметом, но тыканье тростью отодвигало его все дальше. В конце концов он был вынужден вернуться домой и приделать к палке кольцо из проволоки, с помощью которого, проявив аккуратность и большую сноровку, он наконец-то притянул кусок фарфора к себе. Схватив его, Джон торжествующе воскликнул. В этот момент пробили часы. О том, чтобы успеть к избирателям, не могло быть и речи. Встреча прошла без него. Но каким образом фарфоровое

изделие, разбившись, приобрело столь необычную форму? Внимательный осмотр не оставил никаких сомнений: это вышло совершенно случайно, что само по себе странно, и едва ли где-нибудь существует еще одна такая звезда. Установленная на противоположном конце каминной полки от кус-ка стекла, выкопанного на пляже, звезда выглядела незем-ным существом, причудливым и фантастическим, словно ар-лекин. Казалось, он совершает пируэты в бескрайнем про-странстве, сверкая, как мерцающая на небе звезда. Контраст между фарфором, столь ярким и выразительным, и стеклом, таким безмолвным и застывшим, завораживал Джона, и он в изумлении спрашивал себя, как эти два предмета существу-ют одновременно, да еще стоят на одной узкой мраморной полке в одной комнате. Вопрос остался без ответа.

Теперь Джон стал частенько бывать там, где больше всего битого фарфора, – на пустошах вдоль железнодорожных пу-тей, у снесенных домов, в общественных парках в окрестно-стях Лондона. Но мало кто бросает фарфор с большой высо-ты – редчайший человеческий поступок. Для этого требует-ся многоэтажный дом и женщина, настолько импульсивная и безрассудная, что она готова швырнуть свой кувшин или чайник прямо из окна, не думая о прохожих внизу. Фарфора было предостаточно, но чаще всего разбитого в результате какого-нибудь пустякового бытового происшествия, лишен-ного замысла и характера. Тем не менее, по мере изучения предметов, найденных в одном только Лондоне, он все боль-

ше поражался бесконечному разнообразию их форм, но еще больше поводов для удивления и размышлений давали различия в качестве и орнаменте осколков. Лучшие экземпляры Джон приносил домой и ставил на каминную полку, где их функция, однако, все больше сводилась к декоративной, ибо деловых бумаг, требующих пресс-папье, становилось все меньше.

Быть может, он чересчур пренебрегал своими обязанностями или выполнял их спустя рукава, или же вид каминной полки произвел негативное впечатление на избирателей, когда те приходили к нему в гости. Так или иначе, своим представителем в парламенте они Джона не сделали, а его друг Чарльз, приняв это близко к сердцу и поспешив выразить сочувствие, обнаружил Джона ничуть не подавленным и списал это на то, что он еще просто не осознал всю серьезность случившегося.

По правде говоря, в тот день Джон побывал в Барнс-Коммон¹¹² и нашел под кустом утесника весьма примечательную железяку. По форме она ничем не отличалась от его куска стекла, такая же массивная и округлая, но такая холодная и тяжелая, такая черная и металлическая, что она, очевидно, внеземного происхождения – осколок погасшей звезды или обгоревшей луны. Он оттягивал его карман, давил на каминную полку, излучал холод. И все же метеорит стоял бок о бок с куском стекла и фарфоровым осколком в форме звезды.

¹¹² Заповедник на юго-востоке лондонского района Барнс.

Переводя взгляд с одного предмета на другой, молодой человек испытывал мучительное желание обладать чем-то еще более прекрасным. Он все решительнее предавался поискам. Если бы не заветное желание и не уверенность в том, что в один прекрасный день очередная свалка щедро вознаградит его, то пережитые разочарования, не говоря уже об усталости и насмешках, заставили бы Джона бросить свою затею. Вооружившись холщовой сумкой и длинной палкой с подвижным крюком на конце, он копался в земляных кучах, шарил в густых зарослях кустарника, рыскал в переулках и прочесывал узкие дорожки между соседними домами, где, как он знал по опыту, всегда попадались подобные выброшенные предметы. По мере того как росли его требования, а вкус становился все более изощренным, разочарованиям не было числа, однако проблеск надежды – какой-нибудь цветастый кусок фарфора или стекла причудливой формы, – всегда манил его дальше. Один день сменял другой. Джон уже был немолод. Его карьера, то есть политика, осталась в прошлом. Люди прекратили навещать его. Он стал слишком молчалив, чтобы его приглашали на ужины. Он никогда никому не рассказывал о своих подлинных устремлениях; по поведению окружающих было ясно, что его не поймут.

Откинувшись в кресле, Джон наблюдал за тем, как Чарльз, сам того не замечая, раз за разом поднимает камни с каминной полки и резко кладет их обратно, дабы подчеркнуть слова о политике правительства, ни разу не заметив са-

мих камней.

– *Что же случилось на самом деле, Джон?* – внезапно спросил Чарльз, повернувшись к нему. – *Что заставило тебя вот так взять все и бросить?*

– *Ничего я не бросал,* – ответил Джон.

– *Но теперь-то у тебя нет ни малейшего шанса,* – грубо отрезал Чарльз.

– *Вот тут я с тобой не согласен,* – уверенно возразил Джон.

Чарльз посмотрел на него, и ему стало не по себе; им овладели какие-то чудовищные сомнения; возникло странное ощущение, будто они говорят о разных вещах. Он огляделся вокруг, пытаясь хоть как-то развеять ужасную тоску, но царивший в комнате беспорядок поверг его в еще большее уныние. Что за палка и старая холщовая сумка висят на стене? А эти камни? Снова посмотрев на Джона и увидев пристальный и отстраненный взгляд куда-то вдаль, Чарльз встревожился. Он понял только одно: выпускать его на трибуну нельзя.

– *Красивые камешки,* – как можно бодрее сказал он и, сославшись на деловую встречу, покинул Джона – навсегда.

Сочувствие

Хотя машинописный текст (с рукописными правками) рассказа не датирован, упоминание 29 апреля, вторника, говорит о том, что, скорее всего, он был написан весной 1919 года (когда 29 апреля выпало на вторник). Одно из предложений было слово в слово позже использовано в рассказе “Понедельник ли, вторник”. Гораздо более короткая версия “Сочувствия” под названием “Смерть в газете”, вероятно, была написана в январе 1921 года (см. Приложение 2).

Хэммонд, Хамфри, 29 апреля, поместье, Хай-Уикхэм¹¹³, Бакингемшир. Муж Селии! Должно быть, муж Селии. Умер! Боже правый! Хамфри Хэммонд мертв! Я собиралась спросить их – забыла. Почему я не пришла в тот день, когда они меня звали? Давали концерт, где играли Моцарта¹¹⁴, – из-за чего я и отложила визит. В тот вечер, когда они ужинали здесь, он почти не разговаривал. Сидел в желтом кресле напротив; сказал, что ему нравится «обстановка». Что он имел в виду? Почему я не попросила объяснить? Почему позволила ему уйти и оставить столько недосказанности? Почему он

¹¹³ Город на юго-востоке Англии, в графстве Бакингемшир.

¹¹⁴ Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – выдающийся австрийский композитор.

так долго сидел молча, оставив нас в холле разговаривать об омнибусах? Как отчетливо я вижу его сейчас и понимаю, что застенчивость или желание сказать что-то, чего он не мог, заставили его остановиться и сообщить лишь то, что ему *«нравится обстановка»*. Теперь я не узнаю правды. Отныне розовые щеки бледны, а глаза с юношеским решительным и непокорным взглядом закрыты, но под веками они по-прежнему непокорны. Мужественный и непреклонный, он лежит на своей кровати, которую я представляю белой и высокой; окна открыты, птицы поют, никакого потворства смерти; ни слез, ни сантиментов, только букет лилий, рассыпанный по складкам простыней, – возможно, цветы принесла мать или Селия.

Селия. Да... Я вижу ее, а потом нет. Есть момент, который я не могу себе вообразить; момент в жизни людей, который всегда обходят стороной; момент, с которого начинается все то, благодаря чему мы их знаем; я иду за ней к двери его комнаты; вижу, как она поворачивает ручку; затем я на мгновение слепну, а когда воображение вновь открывает мне глаза, то она предстает готовой столкнуться лицом к лицу с жизнью – вдова; не она ли рано утром с головы до ног укутана в белое, а свет будто раскалывается на ее лбу во все стороны?! Внешнее я вижу и буду видеть всегда, но о сути могу лишь догадываться. Я с завистью отмечу ее молчание и суровость; буду наблюдать, как она ходит среди нас, скрывая свою тайну; буду представлять, как она ждет наступле-

ния ночи, чтобы отправиться в свое одинокое плавание; буду представлять, как она высаживается среди нас и берется за дневную работу, презирая и терпя наши развлечения. Думаю, в этом шуме она слышит куда больше остальных; пустота для нее – призрак. Всему этому я буду завидовать. Буду завидовать ее безопасности – знанию. Однако белая вуаль, по мере того как солнце светит все сильнее, исчезает с ее лба, и она подходит к окну. По дороге несутся повозки, а мужчины, управляющие ими стоя, свистят, поют или кричат что-то друг другу.

Теперь я вижу ее более отчетливо. Цвет вернулся к ее щекам, но румянец исчез; пелена ее глаз, которая придавала взгляду нежность и поволоку, исчезла; гул жизни слишком резок для нее, и, стоя у открытого окна, она сжимается в комок. Я слежу за ней, но уже без зависти. Разве не съезживается она от руки, которую я протягиваю ей? [Все мы грабители; все жестоки; все мы капли в потоке, который равнодушно течет мимо нее. Я могу броситься к ней, но лишь для того, чтобы меня снова притянуло обратно, и я бы стремительно поплыла по течению. Жалость, которая побуждает меня подставить ей руку, чтобы она ее укусила, становится или станет импульсом сострадания, которое при всем своем благородстве кажется ей презрением]¹¹⁵. Она тут же кричит соседке, которая вытряхивает в окно коврик: «*Прекрас-*

¹¹⁵ Неизвестно, намеревалась ли ВВ вычеркнуть из рассказа взятый в скобки текст.

ное утро!» Женщина вздрагивает, смотрит на нее, кивает и исчезает в комнате. Подперев голову рукой, она смотрит на цветы плодовых деревьев, рассыпанные по красноватой стене. Слезы скользят по щекам, но она вытирает глаза ко-
стяшками пальцев. Ей двадцать четыре? Максимум двадцать
пять. Может, предложить ей прогуляться как-нибудь днем
по холмам? Уверенно ступая сапогами, мы выходим на доро-
гу, перепрыгиваем через забор, пересекаем поле и устремляе-
мся в лес. Она кидается к анемонам и начинает собирать их
«для Хамфри», но тут же прекращает, говоря, что вечером
они будут свежее. Мы садимся и смотрим на треугольный ку-
сок желто-зеленого поля перед нами сквозь сплетение веток
ежевика, которые так причудливо разделяют его на части.

«*Во что вы верите?*» – неожиданно спрашивает она (в мо-
ем воображении), посасывая стебелек цветка. «*Ни во что,*
ни во что», – говорю я, вынужденная, вопреки своему жела-
нию, отвечать односложно. Она хмурится, отбрасывает цве-
ток и вскакивает. Широко шагает вперед ярд или два, а за-
тем стремительно взмывает, ухватившись за низкую ветку,
чтобы заглянуть в гнездо дрозда в кроне дерева.

«*Пять яиц!*» – кричит она. И я снова отвечаю просто:
«*Как здорово!*»

Но это все фантазии. Мы с ней не в комнате и не в лесу.
Я здесь, в Лондоне, стою у окна и держу в руках «Times». Но как же все изменила смерть! Краски блекнут, словно при
солнечном затмении, а деревья выглядят тонкими, как бума-

га, и мертвенно-бледными, пока проходит тень. Подул легкий прохладный ветерок, откуда-то доносится рев транспорта. Затем, мгновение спустя, расстояния сокращаются, звуки сливаются; на моих глазах деревья, оставаясь бледными, превращаются в часовых, в стражей; небо представляет собой нежный фон; все отдаляется, словно возносится на вершину горы на рассвете. И все это сделала смерть; смерть скрывается за листьями, домами и струящимся вверх дымом, превращая их в нечто неподвижное в своем спокойствии, прежде чем смерть примет одно из облиций жизни. Так из скорого поезда я смотрела на холмы и поля и видела, как человек с косою выглядывал из-за изгороди, когда мы проезжали мимо, а влюбленные, лежащие в высокой траве, смотрели на меня не таясь, как и я на них. Словно бремя свалилось с плеч, словно исчезло препятствие. В этом чистом воздухе мои друзья свободно проходят темными силуэтами по горизонту, желая всего хорошего, нежно прощаясь и переступая за край мира на корабль, который ждет, чтобы унести их в бурю или покой. Мой взгляд не может последовать за ними. Но один за другим, с прощальными поцелуями и смехом слаще прежнего, они проходят мимо меня, чтобы уплыть навсегда; они дружно спускаются к кромке воды, будто всегда шли этой дорогой, пока мы жили. Теперь все наши следы с начала жизни становятся видны, виляя и расходясь, чтобы сойтись здесь, под величественным платаном, под этим нежным небом, под грохот колес и крики, звучащие то высоко,

то низко в гармонии.

Обычный молодой человек, которого я почти не знала, таил в себе огромную силу смерти. Он стер границы и слил воедино отдельные сущности, прекратив существование, – там, в комнате с открытыми окнами и птичьим пением снаружи. Он молча удалился, и, хотя его голоса никто не слышал, его молчание оглушает. Он расстелил свою жизнь, словно плащ, чтобы мы по нему ступали. Куда он нас ведет? Мы подходим к краю и смотрим вдаль. Нет, он вышел за пределы нашего мира; он растворяется в небесной дали; нам остается нежность зелени и синева неба, но ему, прозрачному как мир, все это не нужно; он отвернулся от нас, столпившихся у самого края; он исчезает, раскалывая на части рассвет. Его больше нет. А мы должны вернуться.

Платан трясет листвою, поднимая хлопья света в глубокой воздушной заводи, в которой он стоит; солнечный свет проникает между листьями и падает прямо в траву; на земле алеют герани. Слева от меня раздается крик, справа – еще один, резкий и отрывистый. Колеса крутятся вразнобой, омнибусы сбиваются в кучу, двенадцать гулких ударов возвещают полдень¹¹⁶.

Должна ли я вернуться? Должна ли увидеть, как скрывается горизонт, как исчезает гора и возвращаются резкие грубые цвета? Нет, нет, Хамфри Хэммонд мертв. Он мертв – белые простыни, запах цветов, – пчела жужжит в комнате

¹¹⁶ ВВ использовала это предложение в рассказе «Понедельник ли, вторник».

и вылетает наружу. Куда она отправится дальше? Вот одна у колокольчика, но в нем нектара нет, вот она пробует желтушник¹¹⁷ — на что она надеется в этих старинных лондонских садах? Земля, должно быть, сухая, как песчинки соли, рассыпанные над огромными железными канализационными трубами и изгибами туннелей... Но Хамфри Хэммонд! Мертв! Позвольте мне еще раз прочесть это имя в газете; позвольте вернуться к моим друзьям; позвольте не покидать их так скоро; он умер во вторник, три дня назад, внезапно, после двух дней болезни; а потом конец, смерть сделала свое дело. Конец; возможно, земля уже накрыла его, а люди стали вести себя несколько иначе, хотя некоторые еще не в курсе и продолжают слать ему письма, но эти конверты пылятся на столе в холле. Такое ощущение, будто он мертв уже несколько недель, несколько лет; размышляя о нем, я почти ничего себе не представляю, а его слова о том, что ему нравится «*обстановка*», вообще ничего не значат. И все же он умер; все, что он мог сделать, едва ли вызывает у меня какие-то чувства. Ужасно! Ужасно! Быть такой бессердечной! Вот желтое кресло, в котором он сидел, потертое, но все еще достаточно прочное, оно переживет нас всех; вот каминная полка, уставленная стеклом и серебром, а сам он эфемерен, как пыль на свету, полосующем стены и ковер. Вот и в день моей смерти солнечный свет будет сверкать на стекле и серебре. Солнце прочерчивает полосы на миллион лет вперед; широ-

¹¹⁷ Вид многолетних травянистых растений семейства Капустные.

кая желтая тропа, уходящая в бесконечность за пределы этого дома и города, уходящая в даль, где есть лишь море, расстилающееся бесконечными складками под лучами солнца. Хамфри Хэммонд – кем был Хамфри Хэммонд? – любопытный звук, то хрусткий, то мягкий, словно морская раковина.

Какой нескончаемый поток! Почта! Эти маленькие белые квадратики с черными завитушками на них. *«Мой свекор... вы будете ужинать...»* Она обезумела, говоря о свекре? На ней все еще белая вуаль; кровать белая и высокая; лилии – открытое окно – женщина, вытряхивающая в окно коврики. *«Хамфри управляет делами»*. Хамфри – который умер? *«Мы, я полагаю, переедем в большой дом»*. Дом смерти? – *«куда вы должны прибыть и остаться. Мне надо быть в Лондоне, покупать все для траура»*. Только не говорите мне, что он еще жив! Зачем вы меня обманули?

Последние два предложения заменяют следующее отменное квадратными скобками окончание:

Хотите сказать, что Хамфри все-таки жив, а вы так и не открывали дверь спальни и не собирали анемоны, и что я все это зря; что смерть не пряталась за деревом; что мы с вами будем ужинать, а через много-много лет задавать вопросы о мебели?! Хамфри, Хамфри, ты должен был умереть!

Прежде чем удалить весь кусок, Вирджиния вычеркнула последнее предложение и заменила его следующим:

Зачем вы меня обманули?

Ненаписанный роман

Упоминание данного рассказа в дневниковой записи от 26 января 1920 года (см. ВВ-Д-II) позволяет предположить, что он был написан примерно в то же время. Впервые “Ненаписанный роман” был опубликован в июльском номере журнала “London Mercury”¹¹⁸ 1920 года, а позже включен с небольшими правками в сборник ВВ-ПЛВ и перепечатан в ВВ-ДП. Правки заключались в удалении небольших фрагментов, которые возвращены в текст и заключены в квадратные скобки.

Одного ее несчастного вида было достаточно, чтобы перевести взгляд с газеты на лицо бедняжки, невзрачное без этого выражения, а с ним – практически символ человеческой участи. Жизнь – то, что видишь в глазах людей; жизнь – то, что они познают, а познав, никогда, сколько скрыть ни пытайся, не забудут, – но что именно? Похоже, то, что жизнь такая, какая она есть. Пять лиц напротив – пять зрелых лиц, у каждого из них свой опыт. Странно, однако, что люди пытаются скрыть его! На всех этих лицах видны признаки сдержанности: губы сомкнуты, взгляды потуплены, – каждый из

¹¹⁸ Ежемесячный литературный журнал, редактором которого был Д.К. Сквайр.

пятерых чем-то занят, пытаюсь спрятать или заглушить свой опыт. Один курит, другой читает, третий сверяется с записями в блокноте, четвертый разглядывает карту железной дороги в рамке напротив, а пятая – какой ужас! – ничего не делает. Она созерцает жизнь. Ох, бедняжка моя, несчастная женщина, продолжай играть в эту игру – спрячься же ради нас всех!

Будто услышав, она взглянула на меня, слегка поерзала на месте и вздохнула. Казалось, женщина извиняется и одновременно говорит мне: *«Если б вы только знали!»* А потом она опять уставилась на жизнь. *«Но я знаю, – мысленно ответила я, приличия ради уткнувшись в «Times». – Я в курсе всего: “Вчера в Париже союзные державы подписали с Германией [Версальский] мирный договор... Синьор Нитти¹¹⁹, премьер-министр Италии... В Донкастере¹²⁰ пассажирский поезд столкнулся с товарняком...” Мы все знаем – “Times”¹²¹ знает, – но делаем вид, что это не так».* Мой взгляд опять скользнул по краю газеты. Женщина вздрогнула, как-то странно и неестественно завела руку за спину, куда-то между лопаток, и покачала головой. А я опять нырнула в свой великий источник жизни. *«Что ни возьми, – про-*

¹¹⁹ Франческо Саверио Нитти (1868–1953) – итальянский политик и государственный деятель, премьер-министр Италии с 23 июня 1919 года по 15 июня 1920 года.

¹²⁰ Город в графстве Саут-Йоркшир. Похожая железнодорожная авария произошла 25 мая 1920 года; несколько человек получили легкие травмы.

¹²¹ Ежедневная газета в Великобритании, выходящая в печать с 1785 года.

должила я, – *рождения, смерти, браки, Придворный бюллетень*¹²², *повадки птиц, Леонардо да Винчи*¹²³, *Убийство в Сэндхиллсе*¹²⁴, *высокие зарплаты и стоимость жизни – что ни возьми*, – повторила я, – *все это есть в “Times”*». И опять она с выражением бесконечной усталости на лице замотала головой из стороны в сторону, пока не замерла, словно волчок, уставший вращаться.

От такого горя, как у нее на лице, «Times» не поможет. Но другие люди мешают общению. Лучший способ отгородиться от жизни – сложить из газеты идеальный квадрат, хрустящий, плотный, непроницаемый даже для жизни. Сделав это, я резко подняла голову, прикрывшись своим щитом. Она пронзила его взглядом насквозь; заглянула мне в глаза так, словно искала на дне осадок мужества, чтобы размочить его до глины. Она резко вздрогнула, и уже это лишило меня всякой надежды, развеяло все иллюзии.

Так мы промчались через Суррей и пересекли границу Сассекса. Увлеченная созерцанием жизни, я и не замети-

¹²² Официальный документ, в котором перечисляются мероприятия, проведенные монархом Соединенного Королевства и другими членами королевской семьи, а также назначения на должности в их штате и при дворе.

¹²³ Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и ученый (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения.

¹²⁴ Известное благодаря освещению в прессе и художественной литературе убийство, произошедшее в канун Рождества 1919 года в Ланкашире.

ла, как остальные пассажиры один за другим вышли, а мы, не считая мужчины, который читал, остались вдвоем. Вот и станция «Три моста»¹²⁵. Поезд медленно подъехал к платформе и остановился. Выйдет ли наш попутчик? Я не знала, о чем молиться, и в итоге взмолилась, чтобы он остался. В тот же миг мужчина поднялся, презрительно скомкал газету, словно вещь, отслужившую свое, распахнул двери вагона и оставил нас наедине.

Несчастливая женщина, слегка наклонившись вперед, завела со мной блеклый, бесцветный разговор о станциях и праздниках, о братьях в Истборне, о нынешней зиме – уже и не помню, – то ли ранней, то ли поздней. И наконец, глянув в окно и увидев, как я поняла, саму жизнь, она вздохнула: *«Жить вдали от дома – вот в чем неудобство...»* Вот оно, сейчас узнаем, что у нее случилось. *«Моя невестка, –* горечь в ее тоне была как лимонный сок на холодной стали ножа, *и, обращаясь не ко мне, а к самой себе, она пробормотала: – Чепуха, сказала бы она, да и все они это говорят», –* а сама ежилась так, словно у нее вся спина в мурашках, как у ошпи-панной курицы в витрине торговца птицей.

– Ну и корова! – нервно прервалась она, как будто огромная деревянная корова на лугу шокировала ее и спасла от излишней откровенности. Затем она вздрогнула и опять завела руку за спину, как будто у нее болело или чесалось где-то между лопатками. И вновь она показалась мне самой

¹²⁵ Станция в районе города Кроули в Западном Сассексе.

несчастной женщиной на свете, а я опять упрекнула ее, пускай и не столь уверенно, ведь если у ее несчастья имелись причины и я бы их узнала, тогда можно было бы не винить жизнь.

— *Невестка...* — напомнила я.

Губы ее сжались, словно готовясь плевать ядом, да так и не разжались. Она лишь взяла перчатку и со всей силы начала тереть пятно на оконном стекле. И терла так, словно хотела избавиться от чего-то раз и навсегда — от грязи ли, от какой-то несмываемой скверны. И действительно, несмотря на все усилия, пятно не поддавалось, и женщина откинулась назад, снова вздрогнув и заведя руку за спину, к чему я уже привыкла. Что-то побудило меня снять перчатку и протереть свое стекло. На нем тоже было пятнышко. Сколько я ни терла, оно так и осталось. И тут меня скрутил спазм; я согнула руку и завела ее за спину. Ощущение было такое, словно и у меня кожа как у сырого цыпленка в витрине лавки; между лопатками зудело, свербело, липло и саднило. Достанет ли рука до этого места? Я попробовала дотянуться украдкой. Она заметила. Улыбка, полная бесконечной иронии, бесконечной печали, мелькнула на ее лице и исчезла. Но она уже все сказала, поделилась секретом, заразила своей скверной, и больше ей не о чем было говорить. Откинувшись в своем углу, отвернувшись от ее взгляда, видя только склоны и лощины, серые и пурпурные оттенки зимнего пейзажа, я поняла ее послание, расшифровала секрет ее несчастного вида.

Ее невестка Хильда. Хильда? Хильда? Хильда Марш – цветущая, пышногрудая, степенная. Когда подъезжает кэб, Хильда стоит в дверях и держит наготове деньги. *«Бедняжка Минни так исхудала, что все больше похожа на кузнечика, да и плащ уже старый, прошлогодний. Ну а как иначе – с двумя-то детьми. Не надо, Минни. Я заплачу; вот, возьмите – не с той связались, водитель. Заходи, Минни. Да я бы и тебя донесла, не то что твою корзинку!»* – Они входят в столовую. – *«Дети, а вот и тетя Минни».*

Медленно опускаются ножи и вилки. Они (Боб и Барбара) сползают со стульев, неуклюже тянут руки; возвращаются на свои места, набивают рты и таращатся, жуют и глазют. [Но мы это пропустим – безделушки, занавески, фарфоровое блюдо в форме трилистника, желтые прямоугольники сыра, белые квадратные печенья – все это пропустим – впрочем, нет, постойте-ка! Посреди обеда ее опять передергивает. Боб таращится на нее с ложкой во рту. *«Доедай свой пудинг, Боб».* И все же Хильда осуждает. *«И чего она такая дерганая?»* Идем, идем по лестнице, на верхний этаж; ступеньки окованы латунью, потертый линолеум; о да! – спальня с видом на крыши Истборна¹²⁶, зигзагообразные, словно гусеницы, изгибающиеся то в одну сторону, то в другую, в красную и желтую полоску, с иссиня-черным шифером.] Ну вот, Минни, дверь закрылась; Хильда, тяжело ступая, спустилась вниз; ты отстегиваешь ремни от своей корзинки,

¹²⁶ Город в Восточном Сассексе на побережье Ла-Манша.

кладешь на кровать жалкую ночную рубашку, ставишь рядом меховые войлочные тапочки. Зеркало – нет, ты избегаешь зеркал. Методично раскладываешь шляпные булавки. Вот и шкатулка, украшенная ракушками, – а что внутри? Вытряхиваешь – жемчужная запонка, прошлогодняя, и все. Потом шмыгаешь носом, вздыхаешь, садишься у окна. Три часа дня, декабрь; моросит дождь; одна лампочка горит внизу, в потолочном окне магазина тканей; другая – высоко, в спальне служанки – эта вторая гаснет. Смотреть больше не на что. Секундное замешательство – о чем ты думаешь теперь? (Дайте-ка еще разок взгляну на нее, сидящую напротив; она задремала или просто делает вид; о чем она может думать, сидя у окна в три часа дня? О здоровье, о деньгах, о счетах, о своем Боге?) Да, примостившись на краешке стула и глядя на крыши Истборна, Минни Марш молится Богу. Вот и прекрасно; еще она может протереть стекло, чтобы лучше видеть Бога, но какого именно? Кто Бог Минни Марш, Бог задворок Истборна, Бог трех часов дня? Я тоже вижу крыши, вижу небо, но вот узреть Бога! Он скорее похож на президента Крюгера¹²⁷, нежели на принца Альберта¹²⁸, – ничего лучше я представить не могу; вижу его в кресле, в

¹²⁷ Стефанус Йоханнес Паулус Крюгер (1825–1904) – лидер буров в их восстании против Великобритании в 1880 году; президент Южно-Африканской республики в 1883–1900 гг.

¹²⁸ Альберт Саксен-Кобург-Готский (1819–1861) – супруг королевы Виктории, чья искренняя вера в Бога принимала куда менее агрессивные формы, нежели у Пауля Крюгера.

черном фраке, не так уж и высоко; могу усадить на пару облачков; вот в его руке на фоне облаков появляется жезл – дубинка, не так ли? – черный, толстый, с шипами – жестокий старый задира, этот Бог Минни! Не он ли послал ей и зуд, и пятно, и спазмы? Так вот почему она молится? Следы греха – вот что она пытается стереть с окна. Ох, да она совершила какое-то преступление!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.